

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Черты из жизни Пепко



Дмитрий Мамин-Сибиряк

Черты из жизни Пепко

«Public Domain»

1894

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Черты из жизни Пепко / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain», 1894

Роман «Черты из жизни Пепко» автобиографичен, на что писатель сам неоднократно указывал. Истинный художник, по мнению Мамина-Сибиряка, должен стремиться к воспроизведению правды жизни. «Придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями...». Органическая связь писателя со своим народом, национальный характер художественных произведений являются, по убеждению Мамина-Сибиряка, важнейшими условиями истинного творчества.

© Мамин-Сибиряк Д. Н., 1894

© Public Domain, 1894

Содержание

I	5
II	8
III	11
IV	14
V	17
VI	21
VII	25
VIII	29
IX	33
X	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Черты из жизни Пепко

I

Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провел скверную ночь и на лекции не пошел. Во-первых, опоздал, а во-вторых, нужно было доканчивать седьмую главу третьей части первого моего романа. Кто пробовал писать роман, тот поймет, насколько последняя причина была уважительна. Прежде чем приняться за работу, я долго ходил по комнате, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь у единственного окна, выходящего на улицу. Это окно было моим пробным пунктом, точно каждая трудная мысль сама останавливалась у него. Может быть, это было инстинктивным тяготением к свету, которого так мало отпущено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, но открывавшийся из него вид не представлял собой ничего интересного. Просто пустырь, занятый бесконечными грядами капусты. Таких пустырей в глубине Петербургской стороны и сейчас достаточно, а двадцать лет тому назад их было еще больше. Мой пустырь до некоторой степени оживлялся только канатчиком, который, как паук паутину, целые дни вытягивал свои веревки. Я уже привык к этому неизвестному мне человеку и, подходя к окну, прежде всего отыскивал его глазами. У меня плелась своя паутина, а у него – своя.

Обыкновенно моя улица целый день оставалась пустынной – в этом заключалось ее главное достоинство. Но в описываемое утро я был удивлен поднявшимся на ней движением. Под моим окном раздавался торопливый топот невидимых ног, громкий говор – вообще происходила какая-то суматоха. Дело разъяснилось, когда в дверях моей комнаты показалась голова чухонской девицы Лизы, отвечавшей за горничную и кухарку, и проговорила:

– Она повесилась...

Меня удивило то, что Лиза улыбалась, хотя это и делалось из вежливости к жильцу. Затем, она была так счастлива, что успела первой сообщить мне взволновавшую всю улицу новость.

– Кто повесился?

– Вировка весилась...

Репертуар русских слов у Лизы находился в несоответствии с пожиравшей ее жаждой рассказать мне новость, и свое объяснение она закончила при помощи рук. Я понял, наконец, кто повесился, и успокоенная чухонская девица скрылась. Впрочем, теперь я и без нее мог увидеть собственными глазами эту новость, то есть грязные босые ноги, выставившиеся из-под ветхого навеса, в котором канатчик складывал свою паклю и веревки. Толпа прибывала с удивительной быстротой, – откуда только бралось столько народа в пустынной улице. Стремглав летели босоногие «сапожные» мальчишки, портняжки, горничные, какие-то подозрительные бабы, разные «отставные», которыми по преимуществу населена Петербургская сторона, и просто «жилыцы». Сначала толпа хлынула было в огород, но явившиеся на место действия два городских выгнали любопытных обратно на улицу, и благодаря этому обстоятельству я из своего бельэтажа мог отлично видеть нижнюю часть неподвижно висевшего в сарайчике мертвого тела канатчика. Чухонка Лиза уже три раза вихрем пронеслась по улице взад и вперед, собирая на лету последние известия, чтобы сейчас же разнести их с проворством обезьяны по всем трем этажам нашего деревянного домика. Меня всегда возмущало это нахальное любопытство уличной толпы в таких случаях, а теперь в особенности, потому что мне казалось, что канатчик почти принадлежал мне, как собрат по профессии.

Главным неудобством моей комнаты было то, что она отделялась от хозяйской половины очень тонкой дощатой стенкой, и слышно было каждое слово, которое говорилось по обе ее стороны. Благодаря этому обстоятельству я в течение какого-нибудь месяца до тонкости узнал всю жизнь моих хозяев, до мельчайших подробностей. Во-первых, они были люди одинокие – муж и жена, может быть, даже и не муж и не жена, а я хочу сказать, что у них не было детей; во-вторых, они были люди очень небогатые, часто ссорились и вообще вели жизнь мелкого служилого петербургского класса. Он уходил в какую-то канцелярию ровно в одиннадцать часов и возвращался обыкновенно к обеду. Если он запаздывал или приходил навеселе, жена начинала на него ворчать, постепенно усиливая тон. Видимо, у него был прекрасный характер, потому что в таких случаях он начинал оправдываться виноватым голосом, просил прощения и вообще употреблял все средства, чтобы потушить беду домашними средствами. Но все-таки он был большой хитрец. Я это знал по тем пустым словам, какими он старался заговорить жену. Он десятки раз косневшим языком повторял самые нелепые объяснения своего поведения, пока жене не надоедало слушать его глупости. Вся суть этой политики заключалась в том, чтобы выиграть время и не дать жене войти в раж. Впрочем, эти опыты гипнозизма не всегда удавались, и дело доходило до очень громких слов, взаимных укоров, подавленной ругани, швыряния разных предметов домашнего обихода и каких-то подозрительных пауз, которые разрешались сдержанными рыданиями жены. В таких исключительных случаях я считал своим долгом издавать предупредительный кашель, ронял на пол книгу или начинал ходить по комнате, стуча каблуками. Этот маневр моментально производил желанное действие, и сцена заканчивалась сердитым шепотом, тяжелым молчанием и такими движениями, точно кто-то кого-то отталкивал и не мог оттолкнуть. Нужно признаться, что я не злоупотреблял своим влиянием, потому что мое вмешательство, очевидно, шло в пользу только виноватой стороны, которой являлся всегда муж, а я не хотел быть его тайным сообщником. Накануне разыгралась именно одна из таких семейных бурных сцен, и поэтому утро было молчаливо-тяжелое. Меня интересовало, как сегодня вывернется мой легкомысленный хозяин, который, как мне было известно доподлинно, именно по утрам мучился угрызениями совести. И представьте себе, этот хитрец воспользовался смертью несчастного канатчика, чтобы помириться с женой! Он так громко его жалел, так вздыхал, высказал столько хороших чувств и даже сам сбегал посмотреть на покойника, чтобы удовлетворить разгоревшееся любопытство жены в качестве очевидца. По тону ее голоса я уже слышал, что ей просто лень сердиться и что ради повесившегося канатчика она готова совсем простить своего тирана. Мое предположение скоро подтвердилось: послышался с его стороны ласковый шепот и уговариванье, а потом поцелуй. Одним словом, канатчик точно нарочно повесился именно в это утро, чтобы поссорившиеся накануне супруги помирились...

– И хорошо сделал этот канатчик, черт возьми! – слышался голос мужа.

– А если у него маленькие дети остались? – слезливо отвечала жена.

– Почему непременно дети и почему непременно маленькие?

Меня всегда удивлял тот быстрый переход, который совершался вслед за таким примирением. Муж сразу делался другим человеком – уверенный тон, ответы полусловами, даже походка другая. Так было и теперь. Прощенный грешник, видимо, чувствовал себя прекрасно и даже, кажется, любезно ущипнул жену, потому что она подавленно взвизгнула и засмеялась, но в этот трогательный момент появилось третье лицо, которое вошло в комнату, не раздеваясь в передней. По первым фразам можно было заключить, что это третье лицо было своим человеком и притом, несмотря на сравнительно ранний час, было уже сильно навеселе и плохо владело заплетавшимся языком. По тону хозяина можно было заключить, что он не был рад неожиданному появлению гостя, который в другое время мог бы явиться спасителем семейного счастья, а сейчас просто не дал довести до конца счастливый момент. Сам гость упорно не желал замечать ничего и добродушнейшим образом что-то сюсюкал, причмокивал языком и топтался на одном месте, как привязанная к столбу лошадь.

Все эти события совершенно вышибли меня из рабочей колеи, и я, вместо того чтобы дописывать свою седьмую главу, глядел в окно и прислушивался ко всему, что делалось на хозяйской половине, совсем не желая этого делать, как это иногда случается.

Дальше я услышал, как хозяин что-то принялся рассказывать гостю, а тот одобрительно мычал.

– Отлично... Одобряю! – повторял пьяный голос. – А я сейчас к нему пойду познакомлюсь... да.

– Пожалуйста, оставьте, Порфир Порфирыч, – проговорила хозяйка. – Какое нам дело до других и какое мы имеем право мешать человеку?.. Наконец, я вас прошу, Порфир Порфирыч... Человек пишет, а вдруг вы ввалитесь, – кому же приятно в самом деле?

– Пишет? Та-ак... – тянул гость и с упрямством пьяного человека добавил: – А я все-таки пойду и познакомлюсь, черт возьми... Что же тут особенного? Ведь я не съем.

Я понял, что разговор шел обо мне и что хозяин своим молчанием поощряет намерение гостя, – проклятый плут за мой счет хотел выдворить непрошеного гостя, закончить прерванную сцену супружеского примирения в окончательной форме. Это меня, наконец, взбесило... Что им нужно от меня? Вот тебе и седьмая глава третьей части! Я приготовился так принять незваного гостя, что он в следующий раз позабудет мой адрес. А тут чухонка Лиза заглянула в мою дверь без всякой причины, ухмыльнулась и скрылась, как крыса, укравшая кусок сала. Как хотите, это было уже слишком: за мой счет готовилось какое-то очень глупое представление.

– Она дома... – послышался предупреждавший шепот Лизы, когда в коридорчике, отделявшем мою комнату от кухни, послышались какие-то шмыгающие шаги, точно чьи-то ноги прилипали к полу.

II

– Можно войти-с? – послышался голос за моей дверью, сопровождаемый пьяным причмокиванием и сдержанным хихиканьем Лизы.

– Войдите...

В дверях показался лысый низенький старичок, одетый в старое, потертое осеннее пальто; на ногах были резиновые калоши, одетые прямо на голую ногу. Обросшие бахромой, вытертые и точно вылощенные штаны служили только дополнением остального костюма, который, говоря откровенно, произвел на меня совсем невыгодное впечатление, и я даже подумал одно мгновение, что это какой-нибудь благородный отец, собирающий пяточки. Но старичок улыбнулся самым веселым образом и даже лукаво подмигнул мне, когда, как-то по-театральному, прочитал мне свою рекомендацию:

– Порфир Порфирыч Селезнев, литератор из мелкотравчатых... Прошу любить и жаловать. Да... Полюбите нас черненькими... хе-хе!.. А впрочем, не в этом дело-с... ибо я пришел познакомиться с молодым человеком. Вашу руку...

Бывают такие особенные люди, которые одним видом уничтожают даже приготовленное заранее настроение. Так было и здесь. Разве можно было сердиться на этого пьяного старика? Пока я это думал, мелкотравчатый литератор успел пожать мою руку, сделал преуморительную гримасу и удушливо расхохотался. В следующий момент он указал глазами на свою отставленную с сжатым кулаком левую руку (я подумал, что она у него болит) и проговорил:

– Я – раб, я – царь, я – червь, я – бог...¹

При последнем слове кулак разжался, и в нем оказалось несколько смятых кредиток.

– Это мой несгораемый шкаф, молодой человек... Хе-хе!.. Сколько вам нужно? Берите десять, пятнадцать...

– Позвольте, мне кажется странным... Одним словом, что вам угодно от меня?..

Порфир Порфирыч посмотрел на меня непонимающим взглядом, быстро опустился на мой стул у письменного стола и торопливо забормотал:

– Понимаю, понимаю... молодая гордость! Понимаю и не обижаюсь: так и должно быть. Это хорошо... Иначе оставалось бы сделать то же, что устроил ваш канатчик. А ведь какой хитрец... а? Я про канатчика... Вы только подумайте: у человека работишка совсем плохая, притом он должен кругом – хозяину за квартиру, в мелочную лавку, в кабак... да. Наконец, беднягу постоянно сосал червячок: эх, опохмелиться бы!.. Ну, и представьте себе, должен он целые дни тянуть эти проклятые веревки, целые дни думать, как ему извернуться, чтобы и голодная жена не ругалась, чтобы и своя голова не трещала и чтобы лавочник поверил в долг... И вот присмотрел он этакий гвоздь в своем сарайчике, приспособил веревочку и – готов. Это, скажу я вам, был истинный философ, который перехитрил все и всех. Понимаете: трах! – и ни долга в лавочку, ни платы за квартиру, ни похмелья, ни этих проклятых веревок, которые ему отравили всю жизнь. Я нахожу это недурным способом «раскланяться с здешним миром», как говорят китайцы. Главное, ремесло такое подлое у человека: вил, вил свои бесконечные веревки, ну, наконец, и соблазнился. На его месте всякий порядочный человек давно бы сделал то же самое...

Слушая эту пьяную болтовню, я рассматривал физиономию Порфира Порфирыча. Ему было за пятьдесят лет. Жиденькие, мягкие, седые, слегка вившиеся волосики оставались только на висках и на затылке; маленькая козлиная бородка и усы тоже были подернуты седой. Когда-то это лицо было очень красиво – и большой умный лоб, и живые, темные, боль-

¹ «Я – раб, я – царь, я – червь, я – бог» – у Г.Р.Державина (1743–1816): «Я царь, – я раб, – я червь, – я бог!» (Ода «Бог», 1784).

шие глаза, и правильный нос, и весь профиль. Теперь это лицо от великого пьянства и других причин было обложено густой сетью глубоких морщин, веки опухли, глаза смотрели воспаленным взглядом, губы блестели тем синеватым отливом, какой бывает только у записных пьяниц. Наконец, эти гримасы, причмокивания и подмигивания тоже говорили сами за себя.

Мое первоначальное решение выпроводить гостя без церемоний сменилось раздумьем: зачем гнать пьяного старика – поболтает и сам уйдет.

– Так вы, молодой человек, неужели никогда и ничего не слышали про Порфира Порфирова Селезнева? – спрашивал старик, доставая берестяную тавлинку и делая самую аппетитную понюшку.

– Ничего не слышал.

– Значит, и моего «Яблока раздора» не читали?

– Нет...

Старик вытащил из бокового кармана смятый лист уличной газетки и ткнул пальцем на фельетон, где действительно был напечатан рассказ «Яблоко раздора», подписанный П. Селезевым.

– Да-с, а теперь я напишу другой рассказ... – заговорил старик, пряча свой номер в карман. – Опишу молодого человека, который, сидя вот в такой конурке, думал о далекой родине, о своих надеждах и прочее и прочее. Молодому человеку частенько нечем платить за квартиру, и он по ночам пишет, пишет, пишет. Прекрасное средство, которым зараз достигаются две цели: прогоняется нужда и догоняется слава... Поэма в стихах? трагедия? роман?

Я сделал невольное движение, чтобы закрыть книгой роковую седьмую главу третьей части романа, но Порфир Порфирыч поймал мою руку и неожиданно поцеловал ее.

– Люблю, – шептал пьяный старик, не выпуская моей руки. – Ах, люблю... Именно хорош этот молодой стыд... эта невинность и девственность просыпающейся мысли. Голубчик, пьяница Селезнев все понимает... да! А только не забудьте, что канатчик-то все-таки повесился. И какая хитрая штука: тут бытие, вившее свою веревку несколько лет, и тут же небытие, повешенное на этой самой веревке. И притом какая деликатность: пусть теперь другие вьют эту проклятую веревку... хе-хе!

Порфир Порфирыч тяжело раскашлялся, схватившись за надсаженную простудой грудь, и даже выпустил из кулака деньги. Я подал ему стакан воды, и пьяница поблагодарил меня улыбнувшимися глазами. Меня начинала интересовать эта немного дикая сцена.

Собрав деньги с пола, старик разложил их на моем столе, пересчитал и с глубоким вздохом проговорил:

– Двадцать семь рубликов, двадцать семь сокольников... Это я за свое «Яблоко раздора» сцапал. Да... Хо-хо! Нам тоже пальца в рот не клади... Так вы не желаете взять ничего из сих динариев?

– Нет.

– Все равно пропью.

– Зачем пропивать?.. Вот у вас пальто холодное, а скоро наступит зима. Мало ли что можно приобрести на эти деньги?

– Вот вы говорите одно, а думаете другое: пропьет старый черт. Так? Ну, да не в этом дело-с... Все равно пропью, а потом зубы на полку. К вам же приду двугривенный на похмелье просить... хе-е!.. Дадите?

– Если у самого будут...

– О, юноша, юноша... Ну, да не в этом дело. Д-да... А слышали вы, юноша, нечто о волчьем хлебе?

– Нет.

– Та-ак-с... А это вот какая история-с, юноша. Возьмите вы теперь волка, настоящего лесного волка, который по лесу бегает и этак зубами с голоду щелкает. Жалованья ему не

полагается, определенных занятий не имеет, ну, одним словом, настоящий волк, которому на роду написано голодать. И вдобавок волк-то еще состарился: шерсть у него вылиняла, глаз притупился, на ухо туг, нос заржавел, зубы съел, – ну, ему вдвойне приходится голодать супротив молодых волков. Не идти же ему к дантисту: вставьте, мол, новые зубы и при этом позвольте-с очки... Так? И вдруг этому облезлому, беззубому волчищу этакий кус попадает?.. Хам! Неужели он по частям будет добычу размеривать? Сразу голубчик слопает, а потом опять голодать. Так и в нашем деле... Теперь поняли?.. Ведь это надо на своей коже испытать. А кстати, вот что, пойдете в одно место злачное?

– Куда?

– Да попросту в трактирное заведение... Чайку напьемся, машину послушаем, ибо душа требует простора, трубных звуков и сладкого забвения. Вы газеты читаете, а я просияю божественной теплотой. Знаете, как сказано у Гафиза:² «Пустыня льву, лес птице и кабак Гафизу»... хе-хе!.. Там уж все наши в сборе. Ведь вы Гришука знаете? Нет? Ну, как вы, юноша, ничего не знаете. И Молодина не знаете? и полковника Фрея? Тэ-тэ... да ведь это такие праведники, без которых несть граду стояния... Одевайтесь и идемте. Все равно сегодня ничего писать не будете... Канатчик-то ведь повесился – вы и будете думать о нем. Вон и ножки болтаются.

На лекции идти было поздно, работа расклеилась, настроение было испорчено, и я согласился. Да и старик все равно не уйдет. Лучше пройтись, а там можно будет всегда бросить компанию. Пока я одевался, Порфир Порфирыч присел на мою кровать, заложил ногу на ногу и старчески дребезжавшим тенорком пропел:

Надо мной певала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастлив, Калистратушка!³»

Мы вышли. Порфир Порфирыч в порыве восторга ущипнул подвернувшуюся Лизу и за нанесенное оскорбление подарил двугривенный.

– На, чухоночка, где тебе взять... – бормотал старик, шлепая своими калошами.

Лиза проводила нас улыбающимися глазами и проговорила:

– У ней много денек... бокгатая!..

² Гафиз (Хафиз) (1320–1389) – поэт, классик таджикской и иранской литературы.

³ «Надо мной певала матушка...» – из стихотворения Н.А. Некрасова «Калистрат» (1863).

III

На улице Порфир Порфирыч показался мне таким маленьким и жалким. Приподняв воротник своего пальто, он весь съежился, и я слышал, как у него начали стучать зубы.

– Мы автомедона возьмем... – решил он, изнемогая окончательно. – Эй, извозец, на Симеониевскую, четвертак!

Мы поехали.

– Вы не думайте, юноша, что я везу вас куда-нибудь, – объяснял Порфир Порфирыч, еще сильнее съеживаясь. – Самое избранное общество, и почти все с высшим образованием. Одним словом, газетные гоги и магоги... А меня ваша чухончка подстроила: «она пишет... день пишет и ночь пишет». Э, думаю, нашего поля ягода... И потом жаль мне вас стало. Наверно, думаю, этакой романище закатил в пяти частях, а самому жрать нечего. Помереть ведь можно над романищем-то. Вы в газетном борзописании не искушались? Э, батенька, сие не обогатит, а кусочек хлеба с маслом даст... Да вот я вас привезу прямо в академию, а там уж научат. Там собаку съели... Научат, как волчий хлеб добывать.

На Троицком мосту нас пронял довольно свежий ветер, и Порфир Порфирыч малодушно спрятался за меня.

– У меня личные неприятности с этим проклятым мостом, – объяснял он. – Сколько флюсов я износил из-за него... И всегда здесь проклятый ветер, точно в форточке. Изнемогаю в непосильной борьбе с враждебными стихиями...

Мы едва дотащились до Симеониевской улицы. Порфир Порфирыч вздохнул свободнее, когда мы очутились за гостеприимной дверью. Трактир из приличных, хотя и средней руки. Пившие чай купцы подозрительно посмотрели на пальто моего спутника и его калоши. Но он уделил им нуль внимания, потому что чувствовал себя здесь как дома.

– Агапычу сто лет... – здоровался он с буфетчиком, перекладывая деньги из правой руки в левую.

– Пожалуйте... – приглашал лакей, забегая перед Порфиром Порфировичем петушком. – Там уж компания-с...

Мы прошли общую залу и вошли в отдельную комнату, где у окна за столиком разместились компания неизвестных людей, встретившая появление Порфира Порфирыча гулом одобрения, как театральный народ встречает короля.

– Отцы, позвольте презентовать прежде всего вам юношу, – бормотал Порфир Порфирыч, указывая на меня. – Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно... Не в этом дело-с. Василий Иванович Попов... Кажется, так?

– Да... – подтвердил я, здороваясь с новыми знакомыми.

Первое впечатление было не в пользу «академии». Ближе всех сидел шестифутовый хохол Гришук, студент лесного института, рядом с ним седой старик с военной выправкой – полковник Фрей, напротив него Молодин, юркий блондин с окладистой бородкой и пенсне. Четвертым оказался худенький господин с веснушчатым лицом и длинным носом.

– Тоже Попов, а попросту – Пепко, – сам отрекомендовался он, протягивая длинную сырую руку.

Мне почему-то показалось, что из всей «академии» только этот Пепко отнесся ко мне с какой-то скрытой враждебностью, и я почувствовал себя неловко. Бывают такие встречи, когда по первому впечатлению почему-то невзлюбишь человека. Как оказалось впоследствии, я не ошибся: Пепко возненавидел меня с первого раза, потому что по природе был ревнив и относился к каждому новому человеку крайне подозрительно. Мне лично он тоже не понравился, начиная с его длинного носа и кончая холодной сырой рукой.

Много прошло лет с этого момента, и из действующих лиц моего рассказа никого уже не осталось в живых, но я всех их вижу, как сейчас. Вот молчаливый Фрей с его английской коротенькой трубочкой. Лицо точно вырублено топором, серые глаза навывкате, опущенные книзу серые усы, серая тужурка; он не любил говорить и умел слушать. Кто он такой, как попал в газетное колесо, почему полковник и почему Фрей – я так и не узнал, хотя имел впоследствии с ним постоянно дело. Хохол Гришук был настоящий хохол – добродушный, ленивый, лукавый по-хохлацки и очень слабый до горилки. Молодин скоро выбыл из компании, пристроившись секретарем к какому-то дамскому благотворительному комитету, собиравшему тряпки, старые коробки из-под сардин и всякую непутную дрянь. Его видали потом уже в шинели с настоящими бобрами, но он отвергивался, не узнавая членов «академии». Да, я смотрю через призму двадцати лет на сидевшую за столиком компанию и могу только удивляться человеческой непроницаемости. В трактир на Симеоновской меня привело простое любопытство, и я не подозревал, что в моей жизни это был самый решительный шаг. Бывают такие роковые дни, когда жизнь поворачивает в новое русло, а человек этого не чувствует, поддаваясь течению. Так было и тут. Предо мной открывалась совершенно новая жизнь, новые люди, новые интересы, и я присел к общему столику с скромною мыслью посидеть немного и уйти.

То же самое могу сказать о людях. Если бы человек мог провидеть будущее хоть немного... Я сейчас смотрю на Пепку и вижу его совсем другим, чем он мне показался с первого раза. Мог ли я себе представить, что именно с этим человеком будет связана целая полоса моей жизни, больше – самое горячее, дорогое время, которое называется молодостью. Вспоминая прошлое, я обобщаю свою молодость именно с Пепкой и иначе не могу думать. Это был мой двойник, мое alter ego. Милый Пепко, молодость, где вы? У меня невольно сжимается сердце, и мысленно я опять проделываю тот тернистый путь, по которому мы шли рука об руку, переживаю те же молодые надежды, испытываю те же муки молодой совести, неудачи и злоключения... И мне хочется пожать эту холодную сырую руку, хочется слышать неровный крикливый голос Пепки, странный смех – он смеялся только нижней частью лица, а верхняя оставалась серьезной; хочется, наконец, видеть себя опять молодым, с единственным капиталом своих двадцати лет. Позвольте, это, кажется, получается маленькое отступление, а Пепко ненавидел лиризм, и я не буду оскорблять его памяти. В обиходе нашей жизни сентиментальности вообще не полагалось, хотя, говоря между нами, Пепко был самым сентиментальным человеком, какого я только встречал. Но я забегаю вперед.

Порфир Порфирыч торжественно подошел к столу и раскрыл свой нескороаемый шкаф. Присутствующие отнеслись к скомканным ассигнациям довольно равнодушно, как люди, привыкшие обращаться с денежными знаками довольно фамильярно.

– Это твое «Яблоко раздора», Порфирыч? – сделал догадку один Гришук.

– Не в этом дело-с, – бормотал Селезнев, продолжая топтаться на месте. – Господа, разгладим чело и предадимся веселию. Ах, да, какой случай сегодня...

Пока «человек» «соображал» водку и закуску, Селезнев рассказал о повесившемся канатчике приблизительно в тех же выражениях, как говорил у меня в комнате.

– Ну, что же из этого? – сурово спросил Фрей, посасывая свою трубочку. – У каждого есть своя веревочка, а все дело только в хронологии...

Всех внимательнее отнесся к судьбе канатчика Пепко. Когда Селезнев кончил, он заметил:

– Что же, рассказец этот рублевиков на двенадцать можно будет вылепить... Главное, название хорошее: «Петля».

– Нет, брат, шалишь! – вступился Селезнев. – Это моя тема... У меня уже все обдуманно и название другое: «Веревочка». У тебя скверная привычка, Пепко, воровать чужие темы... Это уже не в первый раз.

– А не болтай... – сказал Пепко. – Никто за язык не тянет. Наконец, можно и на одну тему писать. Все дело в обработке сюжета, в деталях.

Когда была подана водка и закуска, Селезнев обратился ко мне:

– Ну, вот мы и дома... Выпьем, юноша.

– Я не пью.

Мой ответ, видимо, произвел неблагоприятное впечатление, а Пепко сделал какую-то гримасу, отвернулся и фыркнул. Я чувствовал, что начинаю краснеть. Зачем же тогда было идти в трактир, если не пить? Конечно, глупо. Чтобы поправиться, я взял рюмку и выпил, причем поперхнулся и закашлялся. Это уже вышло окончательно глупо, и Пепко имел право расхохотаться, что он и сделал. Мне даже показалось, что он обругал меня телятиной или чем-то в этом роде. Я почувствовал себя среди этих академиков мальчишкой и готов был выпить керосин из лампы, чтобы показаться большим.

– Ничего, ничего, юноша... – успокаивал меня Селезнев. – Всеу свое время... А впрочем, не в этом дело-с!..

Поданная водка быстро оживила всю компанию, а Селезнев захмелел быстрее всех. В общей зале давно уже была «поставлена машина», и под звуки этой трактирной музыки старик блаженно улыбался, причмокивал, в такт раскачивал ногой и повторял:

– Да-с, у каждого есть своя веревочка... Верно-с!.. А канатчик-то все-таки повесился... Кончено... *finita la commedia*...⁴ Хе-хе!.. Теперь, брат, шабаш... Не с кого взять. И жена, которая пилила беднягу с утра до ночи, и хозяин из мелочной лавочки, и хозяин дома – все с носом остались. Был канатчик, и нет канатчика, а Порфир Порфирыч напишет рассказ «Веревочка» и получит за оный мзду...

Чтобы поправить свою неловкость с первой рюмкой, я выпил залпом вторую и сразу почувствовал себя как-то необыкновенно легко и почувствовал, что люблю всю «академию» и что меня все любят. Главное, все такие хорошие... А машина продолжала играть, у меня начинала сладко кружиться голова, и я помню только полковника Фрея, который сидел с своей трубочкой на одном месте, точно бронзовый памятник.

– Он пишет роман... – рекомендовал меня Селезнев. – Да, черт возьми! Этакой священный огонь в некотором роде... Хе-хе!..

⁴ комедия окончена... (итал.)

IV

Дальнейшие события следовали в таком порядке, вернее сказать – в беспорядке. На другой день я проснулся в совершенно незнакомой мне комнате и долго не мог сообразить, где я и как я мог попасть сюда. Ответом послужила только нестерпимая головная боль... Но и эта боль ничто по сравнению с тем стыдом, который меня охватил. Боже мой, где я вчера был? как провел вечер? что делал, что говорил? В голове проносились обрывки чего-то ужасного, безобразного, нелепого... Мне начинало казаться, что весь вчерашний день являлся одним сплошным безобразием. Нечего сказать, хорош будущий романист... Для начала даже совсем недурно.

Немало меня смущало и то обстоятельство, что в комнате я был один. Я лежал на какой-то твердой, как камень, клеенчатой кушетке, а рядом у стены стояла кровать. По смятой подушке и обитому одеялу я мог сделать предположение, что на ней кто-то спал и вышел, а следовательно, должен вернуться. Кстати у меня мелькнул обрывок вчерашних воспоминаний. Мы вышли из трактира вместе с Пепкой, вышли под руку, как и следует друзьям. Потом Пепко остановился на углу улицы, взял меня за пуговицу и сообщил мне трагическим шепотом:

– Знаете, Попов, я – великая свинья...

Он, очевидно, рассчитывал на эффект этого открытия, а так как такового не получилось, то неожиданно прибавил:

– И все подлецы...

Последняя гипотеза была очень невыгодна для меня, но я почему-то счел неудобным оспаривать ее, кажется, даже подтвердил ее, мысленно выделив только самого себя. Да, да, именно так все было, и я отлично помнил, как Пепко держал меня за пуговицу.

На основании этого маленького эпизода я имел некоторое право догадываться, что нахожусь в квартире Пепки. Комната была большая, но какого-то необыкновенно унылого вида, вероятно благодаря абсолютной пустоте, за исключением моей кушетки, кровати, ломберного стола, одного стула и этажерки с книгами. Единственное окно упиралось куда-то в стену. По разложенным на столе литографированным запискам я имел основание заключить, что хозяин – студент, и это значительно меня успокоило. Впрочем, скоро послышался довольно крупный разговор, который окончательно вернул меня к действительности.

– Когда же вы мне деньги-то за квартиру отдадите, Попов? – слышался сердитый женский голос.

– Любезнейшая Федосья Ниловна, как только получу, так и отдам, – уверял мужской голос, старавшийся быть любезным. – Как только получу...

– Я уж это давно слышу. Пьянствовать вы можете, а денег за квартиру нет. Вчера вы в каком виде пришли, да еще какого-то пьяницу с собой привели...

Это, очевидно, относилось по моему адресу. Скверная баба, очевидно, не имела привычки церемониться с своими жильцами.

– Любезнейшая Федосья Ниловна, вы говорите совершенно напрасные женские слова, потому что находитесь не в курсе дела. Да, мы выпили, это верно, но это еще не значит, что у нас были свои деньги...

– Что же, вас даром поили?..

– Не даром, но предположите, что деньги могли быть у третьего лица, совершенно не причастного к настоящему вопросу о квартирной плате. Конечно, нравственная сторона всего дела этим не устраняется: мы были несколько навеселе, это верно. Но мир так прекрасен, Федосья Ниловна, а человек так слаб...

– Пожалуйста, не заговаривайте зубов... О, я вас отлично знаю!..

Где-то послышался сдержанный смех, затем дверь отворилась, и я увидел длинный коридор, в дальнем конце которого стояла средних лет некрасивая женщина, а в ближнем от меня

Пепко. В коридор выходило несколько дверей из других комнат, и в каждой торчало по любопытной голове – очевидно, глупый смех принадлежал именно этим головам. Мне лично не понравилась эта сцена, как и все поведение Пепки, разыгрывавшего шута. Последнее сказывалось главным образом в тоне его голоса.

Он вошел в комнату с сердитым лицом, припер за собой дверь, огляделся и поставил на стол полбутылки водки, две бутылки пива и достал из кармана что-то очень подозрительное, завернутое в довольно грязную бумажку.

– А на закуску-то и не хватило... – резюмировал Пепко тайный ход своих мыслей.

Он еще раз оглядел всю комнату, сердито сплюнул и швырнул свою длиннополую шляпу куда-то на этажерку. Мне показалось, что сегодняшний Пепко был совсем другим человеком, не походившим на вчерашнего.

– Главизна зело трещит? – обратился он ко мне, глядя куда-то в угол. – Нечего сказать, хороши мы были вчера... Одним словом, свинство!.. Нужно корректировать подлую природу...

Он еще раз оглядел всю комнату, еще раз посмотрел на дверь и еще раз плюнул.

– Проклятая баба... – ворчал Пепко, подходя к письменному столу и вынимая из письменного прибора вторую, чистую чернильницу. – Вот из чего придется пить водку. Да... А что касается пива... Позвольте...

Пепко с решительным видом отправился в коридор, и я имел удовольствие слышать, как он потребовал стакан отварной воды для полоскания горла. Очевидно, все дело было в том, чтобы добыть этот стакан, не возбуждая подозрений.

Когда я наотрез отказался опохмелиться, Пепко несколько времени смотрел на меня с недоверчивым изумлением.

– Вообще ничего не пью... – виновато оправдывался я. – Вчерашний случай вышел как-то сам собой, и я даже хорошенько не помню всех обстоятельств.

– И отлично! – согласился Пепко. – Кстати, вы, кажется, и не курите?

– Нет, не курю...

Пепко быстро окинул меня испытующим взглядом, а потом подошел и молча пожал руку.

– Я могу только позавидовать, – бормотал он, наливая водку в чернильницу. – Да, я глубоко испорченный человек... За ваше здоровье и за наше случайное знакомство. Виноват старый черт Порфирыч...

Две выпитых чернильницы сразу изменили настроение духа Пепки. Он как-то размяк и осовел. Явилась неудачная попытка спеть куплет из «Прекрасной Елены»:

... Но ведь бывают столкновенья,
Когда мы нехотя грешим.

Мне нравилась в Пепке та решительность, которой недоставало мне. Он умел делать с решительным видом самые обыкновенные вещи. И как-то особенно вкусно делал... Например, как он развернул бумажку с подозрительным содержанием, которое оказалось обыкновенным рубцом.

– А знаете, Федосья прекрасная женщина, – говорил он, прожевывая свою жесткую закуску. – Я ее очень люблю... Эх, кабы горчицы, немножко горчицы! Полцарства за горчицу... Тридцать пять с половиной самых лучших египетских фараонов за одну баночку горчицы! Вы знаете, что комнаты, в которых мы сейчас имеем честь разговаривать, называются «Федосьиными покровами». Здесь прошел целый ряд поколений, вернее сказать – здесь голодали поколения... Но это вздор, потому что и голод понятие относительное. Вы не хотите рубца?..

Я великодушно отказался. По лицу Пепки я заметил, что он заподозрил во мне барина и сбавил мне цену. Размягченный водкой, он подсел ко мне на кушетку и заговорил о литера-

туре. Это был опять новый человек. Пепко, видимо, упорно следил за литературой и говорил тоном знатока. Излишняя самоуверенность скрашивалась здесь его молодостью. Мы неожиданно разговорились, как умеют говорить в двадцать лет. Я, несмотря на свой сдержанный характер, как-то невзначай разговорился и поверил Пепке свои самые задушевные планы. Дело в том, что мной была задумана целая серия романов, на манер «Ругонов» Золя. Пепко выслушал внимательно и отрицательно покачал головой.

– Вздор! – убежденно проговорил он, встряхивая головой. – Предприятие почтенное по замыслу, но, как простое подражание, оно не имеет смысла. Ведь Россия, голубчик, не Франция... Там в самом воздухе висит культура. А нам, то есть каждому начинающему автору, приходится проходить всю теорию словесности собственным горбом, начиная с поучения какого-нибудь Луки Жидяты.⁵ Да... До сих пор мы, русские, изобретаем еще часы, швейные машины и прочее, что давно известно. То же самое и в литературе. Прибавьте к этому наше полное незнание жизни и, главное, отсутствие этой жизни. Ну, где она? Всю жизнь мы просиживаем по своим норам и по норам помираем. Где-то там, далеко, люди живут, а мы только облизываемся или носим платье с чужого плеча. Неприятно, а правда... Если вы хотите узнать несколько жизнь, есть прекрасный случай. Вчера даже был разговор об этом.

– Припоминаю... Быть репортером?

– Да... Досыта эта профессия не накормит, ну, и с голоду окончательно не подохнете. Ужо я переговорю с Фреем, и он вас устроит. Это «великий ловец перед господом»... А кстати, переезжайте ко мне в комнату. Отлично бы устроились... Дело в том, что единолично плачу за свою персону восемь рублей, а вдвоем мы могли бы платить, ну, десять рублей, значит, на каждого пришлось бы по пяти. Подумайте... Я серьезно говорю. Я ведь тоже болтаюсь с газетчиками, хотя и живу не этим... Так, между прочим...

Это предложение застало меня совершенно врасплох, так что я решительно не мог ответить ни да, ни нет. Пепко, видимо, огорчился и точно в свое оправдание прибавил:

– А какие у меня соседи: рядом черкес, потом студент-медик, потом горняк... Все отличные ребята.

В этом предложении Пепки для меня заключалось начало моей собственной литературной веревочки.

⁵ Лука Жидята – новгородский епископ (первая половина XI века), автор «Поучения к братьям», одного из самых ранних произведений русской духовной литературы.

V

Предложение Пепки переехать к нему в комнату вызвало во мне какое-то смутное чувство нерешимости. С одной стороны, моя комната «очертела» мне до невозможности, как пункт какого-то предварительного заключения, и поэтому, естественно, меня тянуло разделить свое одиночество с другим, подобным мне существом, – это инстинктивное тяготение к дружбе и общению – лучшая характеристика юности; а с другой, – я так же инстинктивно боялся потерять пока свое единственное право – сидеть одному в четырех стенах. Я уже сказал, что мой характер отличался некоторою скрытностью и я почти не имел друзей, а затем у меня была какая-то непонятная костьность, почти боязнь переменить место. Являлся почти мистический страх: а если там будет хуже? Эта черта осталась на всю жизнь и принесла мне немало вреда. В данном случае решающим обстоятельством являлся все тот же повесившийся канатчик. Стоило мне подойти к окну и взглянуть на огород с капустой, как сейчас же являлась мысль о канатчике, и я не мог от нее отвязаться. Мне начинало казаться, что тень несчастного канатчика бродит по огороду и все-таки вьет свои веревки, хотя это и происходило главным образом в сумерки. Одним словом, что-то было нарушено в общем настроении, и меня неотступно преследовала эта совершенно вздорная мысль, относительно которой я не решился бы признаться самому близкому человеку.

А там, у Пепки, меня ждало общество и, главное, новые интересы. У меня не выходило из головы высказанное Пепкой предложение заняться репортерством, хотя я относительно этой специальности имел самые смутные представления. Взвешивая за и против все эти обстоятельства, я, наконец, решил оставить свою одинокую комнату. Хозяева отнеслись к моему решению совершенно индифферентно, как настоящие петербургские хозяева, которым все равно, кому бы ни сдавать лишнюю комнату. Кажется, искренне пожалела меня одна чухонка Лиза, которая крада мой сахар и чай самым добросовестным образом.

– Порфир Порфирыч екал? – догадывалась она, помогая мне вытащить мой тощий чемодан.

– Нет, к товарищу...

– Пьяница? – еще раз сделала она попытку угадать.

– Вы говорите глупости, Лиза...

Я чувствовал, что начинаю краснеть, и еще больше обозлился на пронизательную чухонскую девицу. Нечего сказать, недурное напутствие...

Дальше опять следовала неприятность, именно, что Федосья встретила меня почти враждебно. И сам деревянный флигель, нижний этаж которого был занят «Федосьиными покровами», тоже, казалось, не особенно дружелюбно, смотрел на нового жильца своими слезившимися окнами... Вообще хорошего было мало, и я уже раскаивался, когда мой чемодан очутился в комнате Пепки. Ведь этим простым актом, как переезд на новую квартиру, я навсегда терял свою голодную свободу... Кто знает, что было бы, если бы я остался на старой квартире, и делается обидно, из каких ничтожных мелочей складывается то неизвестное, которое называется жизнью.

Пепко был дома и, как мне показалось, тоже был не особенно рад новому сожителю. Вернее сказать, он отнесся ко мне равнодушно, потому что был занят чтением письма. Я уже сказал, что он умел делать все с какой-то особенной солидностью и поэтому, прочитав письмо, самым подробным образом осмотрел конверт, почтовый штемпель, марку, сургучную печать, – конверт был домашней работы и поэтому запечатан, что дало мне полное основание предположить о его далеком провинциальном происхождении.

– Это прямо к тебе относится, – проговорил Пепко, развертывая аккуратно сложенное письмо, – он перешел на «ты» без всяких предисловий. – Вот, слушай... Это пишет моя добрая

мать... «А больше всего, Агафоша, остерегайся дурных товарищей...» Понимаешь, не в бровь, а прямо тебе в глаз. Дальше: «... в столицах очень много блеска, но еще больше дурных примеров и дурных людей, которые совращают неопытных юношей с истинного пути». Неопытный юноша – это я... Какая милая наивность! Моя добрая мать не подумала только одного, что у каждого, даже столичного подлеца должна быть тоже одна добрая мать, которая думает то же самое, что и одна моя добрая мать. Признайся, ты, вероятно, получаешь точно такие же письма с мудрыми предостережениями относительно дурных товарищей?

Мне ничего не оставалось, как признаться, хотя мне писала не «одна добрая мать», а «один добрый отец». У меня лежало только что вчера полученное письмо, в таком же конверте и с такой же печатью, хотя оно пришло из противоположного конца России. И Пепко и я были далекими провинциалами.

Наш первый совместный день сложился под впечатлением этого письма «одной доброй матери» Пепки.

Пообедали мы дома разным «сухоястием», вроде рубца, дрянной колбасы и соленых огурцов. После такого меню необходимо было добыть самовар. Так как я имел неосторожность отдать Федосье деньги за целый месяц вперед, то Пепко принял с ней совершенно другой тон.

– Федосья Ниловна, не пожелаете ли вы водрузить нам самовар? – говорил он совсем другим тоном, точно сам заплатил за квартиру. – И, пожалуйста, поскорее.

Федосья как-то смешно фыркнула себе под нос и молча перенесла нанесенное ей оскорбление. Видимо, они были люди свои и отлично понимали друг друга с полуслова. Я, с своей стороны, отметил в поведении Пепки некоторую дозу нахальства, что мне очень не понравилось. Впрочем, Федосья не осталась в долгу: она так долго ставила свой самовар, что лопнуло бы самое благочестивое терпение. Пепко принимался ругаться раза три.

– Если бы у меня были часы, – повторял он с особою убедительностью, – я показал бы ей, что нельзя ставить самовар целый час. Вот проклятая баба навязалась... Сколько она испортила крови моего сердца и сока моих нервов! Недаром сказано, что господь создал женщину в минуту гнева... А Федосья – позор природы и ужас всей природы.

Я заметил, что Пепко под влиянием аффекта мог достигнуть высоких красот истинного красноречия, и впечатление нарушалось только несколько однообразной жестикуляцией, – в распоряжении Пепки был всего один жест: он как-то смешно совал левую руку вперед, как это делают прасолы, когда щупают воз с сеном. Впрочем, священное негодование Пепки сейчас же упало, как только появился на столе кипевший самовар. Может быть, его добродушное старческое ворчанье напоминало Пепке его «одну добрую мать», а может быть, просто истощился запас энергии.

Помню, что спускался уже темный осенний вечер, и Пепко зажег грошовую лампочку под бумажным зеленым абажуром. Наш флигелек стоял на самом берегу Невы, недалеко от Самсониевского моста, и теперь, когда несколько затих дневной шум, с особенной отчетливостью раздавались наводившие тоску свистки финляндских пароходиков, сновавших по Неве в темные ночи, как светляки. На меня эти свистки произвели особенно тяжелое впечатление, как дикие вскрики всполошившейся ночной птицы.

– Как это странно, – говорил Пепко, выпив залпом три стакана, – как странно, что вот мы с тобой сидим и пьем чай...

– Что же тут странного?

– Даже очень странно, как вообще все в жизни. Нужно тебе сказать, что я постоянно удивляюсь тому, что делается кругом меня. Сделаем простое предположение: не будь «медного всадника» на Сенатской площади, и мы никогда бы не встретились. Мало того, не было бы и Петербурга, а лежало бы себе ржавое чухонское болото и «угрюмый пасынок природы»⁶ коло-

⁶ «Угрюмый пасынок природы» – у А.С.Пушкина в «Медном всаднике» (1833): «Печальный пасынок природы».

тил бы свой дырявый челн... А теперь вот мы имеем удовольствие наслаждаться свистками этих подлых финляндских пароходишек. Лично мне затея Петра основать Петербург обошлась уже ровно в сорок рублей с копейками... да. Считай: пять концов по Николаевской железной дороге... Да, так меня удивляет вот то, что мы сидим и пьем чай: я – уроженец далекого северо-востока, а ты – южанин. Есть даже нечто трогательное в этом сближении, и, выражаясь высоким слогом, можно определить настоящий момент следующей формулой: в недрах «Федосиных покровов», у кипящего самовара, далекий северо-восток подал руку далекому югу...

Очевидно, у Пепки была слабость к цитатам, чужим выражениям и высокому слогу, в чем я впоследствии мог убедиться уже окончательно. Выражаясь проще, кипевший самовар просто напоминал нам наши далекие гнезда, где, вероятно, тоже теперь пили чай и, быть может, тоже вспоминали отлетевших птенцов.

– А знаешь, что привело нас сюда? – неожиданно обратился ко мне Пепко, делая свой единственный жест. – Ты скажешь: любовь к знанию... жажда образования... Хе-хе!.. Все это слова, хорошие слова, и все-таки слова... Сущность дела гораздо проще: образование образованием, а хорошо и свой кусочек пирога получить. Вот молодой провинциал и едет в Питер... Это настоящая осада, и каждый несет сюда самое лучшее, что только у него есть. Добродушная провинция сваливает сюда свое сырье, а получает обратно уже готовый фабрикат... Мена, во всяком случае, выгодная только фабриканту. Знаешь, у меня есть страсть весной бродить по кладбищам... Вот поучительная картина: сколько тут уложено нашего брата провинциала, который тащится в Петербург с добрыми намерениями вместо багажа. Тут и голод, и холод, и пьянство с голода и холода, и бесконечный ряд неудач, и неудовлетворенная жажда жить по-человечески, – все это доводит до преждевременного конца. А сколько по этим кладбищам гниет не успевших даже проявить себя талантов, сильных людей, может быть, гениев, – смотришь на эти могилы и чувствуешь, что сам идешь по дороге вот этих неудачников-мертвецов, проделываешь те же ошибки, повинуюсь простому физическому закону центростремительной силы. И на смену этих мертвецов являются новые батальоны, то есть мы, а на нашу смену готовятся в неведомой провинциальной глуши новые Пети и Коли. Страшно даже подумать, какая масса силы растрачивается совершенно непроизводительно и с каким замечательным самопожертвованием провинция отдает столицам свою лучшую плоть и кровь. Но вместе с тем я не желаю обманывать себя и называю вещи своими именами: я явился сюда с скромной целью протиснуться вперед и занять место за столом господ. Одним словом, я хочу жить, а не прозябать...

– Как мне кажется, ты немножко противоречишь себе... Я не думаю, чтобы тебя привела сюда только одна жажда карьеры.

– Э, голубчик, оставим это! Человек, который в течение двух лет получил петербургский катарр желудка и должен питаться рубцами, такой человек имеет право на одно право – быть откровенным с самим собой. Ведь я средний человек, та безразличность, из которой ткется ткань жизни, и поэтому рассуждаю, как нитка в материи...

В этой реплике выступала еще новая черта в характере Пепки, – именно – его склонность к саморазъедающему анализу, самобичеванию и вообще к всенародному покаянию. Ему вообще хотелось почему-то показаться хуже, чем он был на самом деле, что я понял только впоследствии.

Свой первый вечер мы скоротали как-то незаметно, поддавшись чисто семейным воспоминаниям. В «Федосиных покрывах» раздалась сердечная нота и пахнуло теплом далекой милой провинции. Каждый думал и говорил о своем.

– Моя генеалогия довольно несложная, – объяснял Пепко с иронической ноткой в голосе. – Мои предки принадлежали к завоевателям и обрусителям, говоря проще – просто душили несчастных инородцев... Вообще наша сибирская генеалогия отличается большой скромностью и кончается дедушкой, которого гнали и истребляли, или дедушкой, который сам

гнал и истреблял. В том и другом случае молчание является лучшей добродетелью. И у тебя не лучше... Э, да что тут говорить!.. Мы-то видим только ближайших предков, одного доброго папашу и одну добрую мамашу, которые уже сняли с себя кору ветхого человека.

Из этих рассуждений Пепки для меня ясно выступало только одно, именно – сам Пепко с его оригинальной, немного угловатой психологией, как те камни, которые высились на его далекой родине. Каждая мысль Пепки точно обрастала одним из тех чужеродных, бородастых лишайников, какими в тайге глушились родные ели. А из-под этого хлама выяснялась простая, любящая русская душа, со всеми присущими ей достоинствами и недостатками. Уже лежа в постели, Пепко еще раз перечитал письмо матери и еще раз комментировал его по-своему. В выражении его лица и в самом тоне голоса было столько скрытой теплоты, столько ласки и здорового хорошего чувства.

– Ах, какая забавная эта одна добрая мать, – повторял Пепко, натягивая на себя одеяло. – Она все еще видит во мне ребенка... Хорош ребеночек!.. Кстати, вот что, любезный друг Василий Иванович: с завтрашнего дня я устраиваю революцию – пьянство прочь, шатанье всякое прочь, вообще беспорядочность. У меня уже составлена такая таблица, некоторый проспект жизни: встаем в семь часов утра, до восьми умыванье, чай и краткая беседа, затем до двух часов лекции, вообще занятия, затем обед...

На последнем слове Пепко запнулся: в проспекте его жизни появлялась неожиданная прореха.

– А, черт, утро вечера мудренее! – ворчал он, закутываясь в одеяло с головой.

Через пять минут Пепко уже храпел, как зарезанный. А я долго не мог уснуть, что случилось со мной на каждом новом месте. В голову лезли какие-то обрывки мыслей, полузабытые воспоминания, анализы сегодняшних разговоров... А невские пароходы, как назло, свистели точно под самым ухом. Где-то хлопали невидимые двери, слышались шаги, говор, хохот – жизнь в «Федосьиных покровых» затихала очень поздно. Я пожалел свое покинутое одиночество еще раз и чувствовал в то же время, что возврата нет, а оставалось одно – идти вперед.

Мне вообще сделалось грустно, а в такие минуты молодая мысль сама собой уносится к далекому родному гнезду. Да, я видел далекие степи, тихие воды, ясные зори, и душа начинала ныть под наплывом какого-то неясного противоречия. Стоило ли ехать сюда, на туманный чухонский север, и не лучше ли было бы оставаться там, откуда прилетают эти письма в самодельных конвертах с сургучными печатями, сохраняя еще в себе как бы теплоту любящей руки?.. Меня начинал пугать преждевременный скептицизм Пепки... Засыпая, я составлял проспект собственной жизни и давал себе слово не отступать от него ни на одну иоту. Странно, что эта добросовестная работа нарушалась постоянно письмом «одной доброй матери» Пепки, точно протягивалась какая-то рука и вынимала из проспекта самые лучшие параграфы...

VI

Составленный мной, совместно с Пепкой, «проспект жизни» подвергался большим испытаниям и требовал постоянных «корректировок», – Пепко любил мудреные слова, относя их к высокому стилю. Зависело это отчасти от несовершенства человеческой природы вообще, а с другой стороны – от общего строя жизни «Федосьиных покровов».

Вставали мы утром в назначенный час и проделывали все необходимое в установленный срок, а затем уходили на лекции. Это было лучшее наше время. Затем наступал обед... Мой бюджет составляли те шестнадцать рублей, которые я получал от отца аккуратно первого числа. Из них пять рублей шли на квартиру, шесть в кухмистерскую, а остаток на все остальное. Не скажу, что при таком скромном бюджете я особенно бедствовал. Напротив, рядом с Пепкой я чувствовал себя бессовестным богачом: бедняга ниоткуда и ничего не получал, кроме писем «одной доброй матери». Он голодал по целым неделям, молча и гордо, как настоящий спартанец. Я несколько раз предлагал ему свою посильную помощь, но получал в ответ холодное презрение.

– Вздор... пустяки... – бормотал Пепко и только в крайнем случае позволял позаимствовать гривенник, причем никогда не говорил: «гривенник», а непременно – «десять крейцеров».

В моменты случайной роскоши он вел счет на франки, и по этой терминологии можно было уже судить о состоянии его финансов.

Забота о насущном хлебе в самых скромных размерах являлась для Пепки проклятым вопросом, разрешение которого разбивало вдребезги лучшие параграфы нашего «проспекта жизни». Пепко устраивал всевозможные комбинации, чтобы раздобыть какой-нибудь несчастный рубль, и в большинстве случаев самые трогательные усилия в результате давали круглый нуль.

– Нет, в каком обществе я вращаюсь? – взывал обозленный Пепко, обращаясь к неумолимому року. – Мои добрые знакомые не имеют даже свободного рубля... Говоря между нами, это порядочные идиоты, потому что каждый нормальный человек обязательно должен иметь свободный рубль. Но это частность, а вообще судьба могла бы быть несколько повежливее... Наконец, и моему терпению есть предел, черт возьми!.. Иду давеча мимо Федосьиной комнаты, а она что-то чавкает... Почему она может чавкать, а я должен вкушать от пищи святого Антония? Удивляюсь...

«Федосьины покровы» состояли из пяти комнат и маленькой кухни. Последнюю Федосья занимала сама, а комнаты сдавала жильцам. Самую большую занимали мы с Пепкой, рядом с нами жил «черкес» Горгедзе, студент медицинской академии, дальше другой студент-медик Соловьев, еще дальше студент-горняк Анфалов, и самую последнюю комнату занимала курсистка-медичка Анна Петровна. Общественное и материальное положение всех жильцов было приблизительно одинаково, за исключением студента Соловьева, который существовал игрой на бильярде. Он каждый вечер уходил к Доминику, где пользовался широкой популярностью и выигрывал порядочные «мазы». В общежитии это был очень скромный молодой человек, по целым дням корпевший над своими лекциями. Больше других голодал, повидимому, черкес Горгедзе, красавец мужчина, на которого было жаль смотреть – лицо зеленело, под глазами образовались темные круги, в глазах являлся злой огонек. Кажется, черкес отличался большим скептицизмом и даже не старался изыскать средств к пропитанию, как делал Пепко, а только по целым часам ходил по комнате, как маятник.

– Черкес голоден, – говорил Пепко, прислушиваясь к этому голодному шаганью. – Этаким лев, и вдруг ни манже, ни буар... Ведь такой зверь съест зараз целого барана, не то что медичка Анна Петровна: поклевала крошечек и сыта.

Курсистка была на особом положении и пользовалась общим вниманием. Федосья считала своей священной обязанностью следить за каждым ее шагом и относилась к ней с совершенно непонятной, какой-то затаенной злобой, как к сопернице по принадлежавшей ей, Федосье, «женской части» по преимуществу. Если Анна Петровна приходила часом позже, Федосья сейчас же сообщала нам об этом преступлении, улыбаясь самым ехидным образом. Ее томила мысль о том мужчине, который должен был быть у курсистки, – иначе Федосья не могла представить себе эту новую опасную часть. Но самые тщательные исследования не могли открыть ни малейшего признака мифического мужчины, и Федосья приходила к логическому заключению, что все курсистки ужасно хитрые. Сама по себе Анна Петровна представляла собой серенькую, скромную девушку лет двадцати, – у нее были и волосы серые, и глаза, и цвет лица, и платье. Жила она монашенкой и по целым дням сидела в своей комнате, как мышь в норе, – ни одного звука. Пепко относился к ней с галантностью настоящего джентльмена и несколько раз предлагал свои маленькие услуги, какие должен оказывать истинный джентльмен каждой женщине. Эти скромные попытки встречали вежливый, но настойчивый отказ, так что Пепке оставалось только пожимать плечами, и он называл упрямую курсистку «женским вопросом», что, по его соображениям, выходило очень смешным и до известной степени обидным. Анна Петровна не желала ничего замечать и скромно отсиживалась в своей комнате, как настоящая схимница.

– Ей хорошо, – злобствовал Пепко, – водки она не пьет, пива тоже... Этак и я прожил бы отлично. Да... Наконец, женский организм гораздо скромнее относительно питания. И это дьявольское терпение: сидит по целым неделям, как кикимора. Никаких общественных чувств, а еще Аристотель сказал, что человек – общественное животное. Одним словом, женский вопрос... Кстати, почему нет мужского вопроса? Если равноправность, так должен быть и мужской вопрос...

Мой переезд в «Федосьины покровы» совпал с самым трудным временем для Пепки. У него что-то вышло с членами «академии», и поэтому он голодал сугубо. В чем было дело – я не расспрашивал, считая такое любопытство неуместным. Вопрос о моем репортерстве потерялся в каком-то тумане. По вечерам Пепко что-то такое строчил, а потом приносил обратно свои рукописания и с ожесточением рвал их в мелкие клочья. Вообще, видимо, ему не везло, и он мучился вдвойне, потому что считал меня под своим протекторатом.

Да, наступили трудные дни...

Помню темный сентябрьский вечер. По программе мы должны были заниматься литературой. Я писал роман, Пепко тоже что-то строчил за своим столом. Он уже целых два дня ничего не ел, кроме чая с пеклеванным хлебом, и впал в мертвозлобное настроение. Мои средства тоже истощились, так что не оставалось даже десяти крейцеров. В комнате было тихо, и можно было слышать, как скрипели наши перья.

– А, черт... – ворчал Пепко, время от времени делая передышку.

Я боялся, что он попросит у меня несуществующие десять крейцеров, и молчал. Наконец, мучения Пепки перешли всякие границы, и он проговорил мрачным голосом:

– Есть десять крейцеров?

– Увы, нет...

Пепко заскрипел зубами от молчаливого отчаяния.

Какая это ужасная вещь – голод, особенно в молодые годы, когда организм так настойчиво предъявляет свои права на питание. Средним числом мне пришлось прожить впроголодь около десяти лет, и я отлично понимаю, что значит вечно недоедать. Теперь мне кажется странным, почему нам тогда не пришла самая простая мысль, именно – готовить обед самим... Стоило купить какой-нибудь крупы и заварить великолепную кашу. Питание сухоястием было втрое дороже и не достигало цели. Даже рубец в нашем меню является большой роскошью... Удивительнее всего то, что студенты-медики на голодный желудок изучали свою гигиену, кото-

рая так любезно предлагает самые рациональные методы питания, а относительно самой обыкновенной русской каши глухо молчит. Впрочем, мы, как мужчины, могли и не догадаться, а вот почему тут же рядом молчаливо голодали наши медички, тогда как по своей женской части могли обсудить вопросы питания более практическим способом.

Итак, Пепко заскрипел с голода зубами. Он глотал слюну, челюсти Пепки сводила голодная позевота. И все-таки десяти крейцеров не было... Чтобы утишить несколько муки голода, Пепко улегся на кровать и долго лежал с закрытыми глазами. Наконец, его осенила какая-то счастливая идея. Пепко быстро вскочил, нахлобучил свою шляпу, надел пальто и бомбой вылетел из комнаты. Минут через десять он вернулся веселый и счастливый.

– Эврика! – проговорил он, добывая из кармана полфунта ржаного хлеба и полфунта дешевой лавочной колбасы. – Я перехитрил *fortunam adversam*...⁷ Предадимся чревоугодию...

Пепко съел все с жадностью наголодавшегося волка, облегченно вздохнул и даже растегнул свой пиджак, причем я убедился в отсутствии жилета.

– Проклятый закладчик дал всего десять крейцеров... – конфузливо проговорил Пепко на мой немой вопрос. – Ну, да это все равно: не в деньгах счастье.

Насытившись, Пепко сейчас же впал в самое радужное настроение. В такие минуты он обыкновенно доставал из своей библиотеки какой-нибудь женский роман и начинал его читать, иронически подчеркивая все особенности женского творчества. Нужно оказать ему справедливость, Пепко читал мастерски, а сегодня в особенности. Я хохотал до слез, поддаваясь его веселому настроению.

– «Он был среднего роста, с тонкой талией, обличавшей серьезную силу и ловкость»... Есть!.. «Но в усталых глазах (почему в усталых?) преждевременно светился недобрый огонек...» Невредно сказано: огонек! «Меланхолическое выражение этих глаз сменялось неопределенно-жесткой улыбкой, эти удивительные глаза улыбались, когда все лицо оставалось спокойным». Вот учишь, как пишут...

Мы очень весело провели наш вечерний чай, позанимались еще часа два и, по программе, в девять часов улеглись спать.

– Я чувствую себя в положении боа-констриктора,⁸ который только что сожрал целого теленка, – объяснял Пепко, кутаясь в заношенном байковом одеяле. – Да... И вот страдания двадцать первого сентября закончились.

Пепко жестоко ошибся: страданиям не суждено было закончиться.

Мы только что потушили свои лампы и приготовились заснуть, как было назначено в нашей программе, но именно в этот критический момент в коридоре послышались легкие женские шаги, а затем осторожный стук в двери черкеса. «Войдите», – отвечал грубоватый мужской голос, а затем прибавил уже вполголоса совсем другим тоном: «Ах, это вы»... Дальше послышался сдержанный шепот и что-то вроде поцелуя...

– А, черт... – обругался Пепко в пространство, тяжело ворочаясь на своей кровати.

Благодаря тонкой дощатой стенке, отделявшей нашу комнату от комнаты черкеса, мы сделались настоящими мучениками. Стоявшая мертвая тишина чутко подхватывала малейший шорох, точно наша комната превратилась в громадный резонатор. А шепот продолжался, и ему аккомпанировал смущенно-счастливый смех... Я напрасно прятал голову в подушку, напрасно Пепко прятался с головой под одеяло, – мы были беззащитны. Если бы в соседней комнате кричали и хохотали во все горло, было бы лучше, чем этот раздражавший полусшепот, тихий смех и паузы.

– А, черт... – еще раз обругался Пепко, зажигая лампу. – Нет, это невозможно! Эти проклятые восточные человеки думают только о себе...

⁷ невзгоды... (лат.)

⁸ Боа-констриктор – змея из семейства удавов.

Обозленный Пепко надел сапоги и в виде демонстрации зашагал по комнате, стуча каблуками. Но и это не помогло... Остановившись и прислушавшись, Пепко поднял высоко плечи и заявил:

– Ведь то же самое было и третьего и четвертого дня, когда ты уходил из дому... Но тогда приходили другие – я в этом убежден. По голосу слышу... О, проклятый черкес!.. Ты только представь себе, что вместо нас в этой комнате жила бы Анна Петровна?..

Пепко принял позу «последнего римлянина» к трагически воздел руки горе. Кстати, в этой позе Пепко видел все свои права на блестящее будущее и гордился ей.

VII

Первые печатные строки... Сколько в этом прозаическом деле скрытой молодой поэзии, какое пробуждение самостоятельной деятельности, какое окрыляющее сознание своей силы! Об этом много было писано, как о самом поэтическом моменте, и эти первые поцелуи остаются навсегда в памяти, как полуистлевшие от времени любовные письма.

– Сегодня ты отправляешься в Энтомологическое общество от «Нашей газеты», – сурово заявил мне Пепко в одно совсем непрекрасное «после-обед».

– Что же я там буду делать? – откровенно недоумевал я.

– Будешь сидеть в заседании, запишешь доклад и прения, а завтра к утру составишь отчет... Самое простое дело.

– Но ведь я по части энтомологии ни бельмеса не смыслю... Что-то такое о жучках, бабочках, козявках...

– Именно, наука о козявках, мушках и таракашках, а в сущности – вздор и ерунда. Еще лучше, что ты ничего не смыслишь: будет свежее впечатление... А публике нужно только с пылу, горячего.

– Однако что же я буду писать, если незнаком даже с научной терминологией?

– Э, вздор... А впрочем, мне некогда.

Обстоятельства Пепки круто изменились к лучшему, и поэтому он относился свысока и ко мне и к Федосье. Он где-то напечатал свою «Петлю» и, кроме того, какие-то стишки, – последнее для меня было неожиданным открытием. Я не подозревал, что в Пепке самым скромным образом скрывался поэт... У меня даже явилось чувство зависти, когда Пепко принес номер уличного листка и показал мне свое произведение. Есть какое-то мистическое уважение к печатному слову, и я смотрел на стихи Пепки почти с благоговением, как и на его маленькие рассказы. Благодаря нахлынувшему богатству Пепко, во-первых, выкупил свой жилет, во-вторых, отправился в ресторан обедать и по пути напился и, в-третьих, возвращаясь домой, увидел в окне табачной лавочки гитару, которую и приобрел немедленно, как вещь необходимую в эстетическом обиходе «Федосьиных покровов». Оказалось, что Пепко, кроме поэтического жара, владел сладким искусством тренькать на гитаре какие-то ветхозаветные романсы и под аккомпанемент этого треньканья распевал «пшеничным тенорком» очень жалобные и чувствительные строфы.

– Эстетика в жизни все, – объяснял Пепко с авторитетом сытого человека. – Посмотри на цветы, на окраску бабочек, на брачное оперение птиц, на платье любой молоденькой девушки. Недавно я встретил Анну Петровну, смотрю, а у нее голубенький бантик нацеплен, – это тоже эстетика. Это в пределах цветовых впечатлений, то есть в области сравнительно грубой, а за ней открывается царство звуков... Почему соловей поет?..

– Послушай, Пепко, а в чем же я пойду в Энтомологическое общество? – спрашивал я, прерывая эту философию эстетики. – У меня, кроме высоких сапог и пестрой визитки, ничего нет...

– Э, вздор! Можешь надеть мои ботинки и мои штаны. Если тебя смущает твоя пестрая визитка, то пусть другие думают, что ты оригинал: все в черном, а ты не признаешь этого по твоим эстетическим убеждениям. Только и всего...

Это было еще то блаженное время, когда студенты могли ходить в высоких сапогах, и на этом основании я не имел другой, более эстетической обуви. Когда смущавший меня костюмерский вопрос был разрешен предложенным Пепкой компромиссом, я опять повергся в бездну малодушия, сознавая свою полную несостоятельность по части энтомологии. Пепко и тут оказался на высоте призвания: он относился к ученым свысока. Единственным основанием для этого могло служить только то, что он в течение трех лет своего студенчества успел побывать в

технологическом институте, в медицинской академии, а сейчас слушал лекции в университете, разом на нескольких факультетах, потому что не мог остановиться окончательно ни на одной специальности. Самый способ слушания лекций у Пепки превращался в жестокую критику профессоров, причем он любил выражаться довольно энергично: «балда», «старая подошва», «прохвост» и т. д. Пепко был вообще строг к ученым людям и, отправляя меня на заседание Энтомологического общества, говорил в назидание:

– Я тебе открою секрет не только репортерского писания, но и всякого художественного творчества: нужно считать себя умнее всех... Если не можешь поддерживать себя в этом настроении постоянно, то будь умнее всех хотя в то время, пока будешь сидеть за своим письменным столом.

Все это, может быть, было и остроумно и справедливо, но я испытывал гнетущее настроение, отправляясь на свою первую репортерскую экскурсию. Я чувствовал себя прохвостом, который забирается самым нахальным образом прямо в храм чистой науки. Вдобавок шел дождь, и это ничтожное обстоятельство еще больше нагоняло уныние.

Энтомологическое общество заседало у Синего моста, в помещении министерства. Сановитый и представительный швейцар с молчаливым презрением принял мое мокрое верхнее пальто с большим изъяном по части подкладки и молча ткнул пальцем куда-то вверх. Зачем существуют пестрые пиджаки и скверные осенние пальто с продырявленной подкладкой? Ах, сколько незаслуженных неприятностей я перенес именно от этих невиннейших по существу подробностей мужской костюмировки... Памятуя наставления своего друга, я принял вид оригинала, когда взбирался по широкой министерской лестнице во второй этаж. С этим же видом я подошел к какому-то начинающему молодому человеку, фигурировавшему в роли секретаря, и вручил ему свою верительную грамоту от редакции «Нашей газеты». Он так же молча, как швейцар, указал мне на отдельный стол. Как новичок, я забрался слишком рано и в течение целого часа мог любоваться лепным потолком громадной министерской залы, громадным столом, покрытым зеленым сукном, листами белой бумаги, которые были разложены по столу перед каждым стулом, – получалась самая зловещая обстановка готовившегося ученого пиршества. У меня что-то заняло под ложечкой, и я начал чувствовать, что постепенно теряю свою оригинальность, как человек, попавший на холод, теряет постепенно живую теплоту собственного тела.

Прошло с четверть часа, пока я осмотрелся и заметил двух молодых людей, шушукавшихся в углу залы. Это были, видимо, начинающие ученые, которые забрались в качестве новичков тоже раньше других. Потом явились еще и еще, и я мог наблюдать, как наука росла на моих глазах. Потом явились среднего возраста жрецы науки, которые держали себя уже своими людьми. Они разговаривали громко, фамильярно подавали руку секретарю и вообще проявляли такую развязность, которая заставляла меня только завидовать, как неудавшегося оригинала. Заседание открылось только с прибытием ученой женщины, солидно занявшей главное место. Я не помню, как около моего столика точно из земли вырос какой-то юркий молодой человек в золотых очках, который спросил меня без всяких предисловий:

– Вы от какой газеты? Прежде от «Нашей газеты» приходил сюда Молодин.

Шустрый молодой человек оказался представителем большой распространенной газеты и поэтому держал себя с соответствующим апломбом. Затем явились еще два репортера – один прилизанный, чистенький, точно накрахмаленный, а другой суровый, всклокоченный, с припухшими веками. Это уже было свое общество, и я сразу успокоился.

Не буду описывать ход ученого заседания: секретарь читал протокол предыдущего заседания, потом следовал доклад одного из «наших начинающих молодых ученых» о каких-то жучках, истребивших сосновые леса в Германии, затем прения и т. д. Мне в первый раз пришлось выслушать, какую страшную силу составляют эти ничтожные в отдельности букашки,

мошки и таракашки, если они действуют оптом. Впоследствии я постоянно встречал их в жизни и невольно вспоминал доклад в Энтомологическом обществе.

Тут же в первый раз я имел удовольствие видеть специально ученую ложь, уснащенную стереотипными фразами: «беру на себя смелость сделать одно замечание уважаемому докладчику», «наш дорогой Иван Петрович высказал мнение», «не полагаясь на свой авторитет, я решаюсь внести маленькую поправку» и т. д. Меня удивляло это обилие никому не нужных канцелярских слов и торжественно-похоронное выражение лиц всех этих Иванов Петровичей, фигурировавших здесь в роли столпов науки и отцов отечества. Сколько ненужной лжи и дрянных, ненужных слов, интимной подкладкой которой служило только то, что молодые подающие надежды энтомологи-черви скромно подтачивали старые пни и гнилые колоды родной науки. Приблизительно происходило то же, что с немецким лесом, который был съеден ничтожными жуками.

Записал я все, что происходило, очень плохо, потому что отчасти был занят совершенно посторонними наблюдениями, а отчасти потому, что не умел еще быстро схватывать сущность доклада и прений. Поэтому, возвращаясь домой, я испытывал прилив самого мрачного отчаяния... Какой я репортер для ученых обществ?.. Что я буду писать и о чем? Никто не будет печатать мою галиматью, а если «Наша газета» напечатает, то будет еще хуже, потому что появится возражение. Одним словом, скверно, а всего сквернее то, что я никак не мог вообразить себя умным человеком.

Вернувшись домой, я застал Пепку уже в постели. Он спал сном младенца, и меня это огорчило: мне не с кем было даже поделиться своим отчаянием. Вообще скверно... Я мог только попросить Федосью разбудить меня завтра в шесть часов утра.

Утро было ужасное. Отчет должен был быть готов к восьми часам, и я работал, как приговоренный к смертной казни. Нужно было вылепить из отрывочных замечаний, занесенных в репортерскую книжку, хоть что-нибудь осмысленное и до известной степени целое. Это была жестокая практика... Убивало главным образом то, что нужно было кончить к восьми часам.

Пробило и восемь часов. Отчет был готов.

– Теперь неси его к Фрею, – говорил Пепко. – Его найдешь в трактире у Симеониевского моста... Я сегодня туда не пойду.

Предстояло новое испытание. Мне казалось, что Фрей отнесется ко мне с презрением и засмеется прямо в лицо. Но Фрей не высказал никаких особых враждебных чувств, а молча просмотрел мой первый опыт, молча сунул его себе в карман и самым равнодушным тоном проговорил:

– Хорошо...

«Академия» тоже встретила меня равнодушно, точно я всю жизнь только и делал, что писал отчеты о заседаниях Энтомологического общества.

Какой тяжелый день, какая тяжелая ночь! Нет ничего тяжелее и мучительнее ожидания. Я даже во сне видел, как за мной гнались начинающие энтомологи, гикали и указывали на меня пальцами и хохотали, а вся земля состояла из одних жучков...

Наступило утро, холодное, туманное петербургское утро, пропитанное сыростью и болотными миазмами. Конечно, все дело было в том номере «Нашей газеты», в котором должен был появиться мой отчет. Наконец, звонок, Федосья несет этот роковой номер... У меня кружилась голова, когда я развертывал еще не успевшую хорошенько просохнуть газету. Вот политика, телеграммы, хроника, разные известия.

– Напечатан? – спрашивает Пепко.

От волнения я пробегаю мимо своего отчета и только потом его нахожу. «Заседание Энтомологического общества». Да, это моя статья, моя первая статья, мой первородный грех. Читаю и прихожу в ужас, какой, вероятно, испытывает солдат-новобранец, когда его остригут под гребенку. «Лучшие места» были безжалостно выключены, а оставалась сухая реляция,

вроде тех докладов, какие делали подающие надежды молодые люди. Пепко разделяет мое волнение и, пробежав отчет, говорит:

– Ничего...

– Как ничего?.. А что скажут господа ученые, о которых я писал? Что скажет публика?.. Мне казалось, что глаза всей Европы устремлены именно на мой несчастный отчет... Весь остальной мир существовал только как прибавление к моему отчету. Роженица, вероятно, чувствует то же, когда в первый раз смотрит на своего ребенка...

– Ничего... – тянул из меня душу Пепко. – Завтра ты отправляешься в университет, на ученый диспут; какой-то черт написал целую диссертацию о греческих придыханиях...

Как же это так, вдруг: вчера жучки, а завтра греческие придыхания? Я только тут в первый раз почувствовал себя литературным солдатом, который не имеет права отказываться даже самым вежливым образом...

VIII

Мое репортерство быстро пошло в ход, и в какой-нибудь месяц я превратился в заурядного газетного сотрудника. Меня уже не смущала больше моя пестрая визитка, потому что были и другие репортеры, которые настойчиво желали быть оригиналами. Громадное неудобство этой работы заключалось в том, что она отнимала ужасно много времени. Приходилось в день заседания уходить из дому часов в семь вечера и возвращаться в час, а затем утром писать отчет и нести его в трактир. Одним словом, уходил почти целый день. Такая работа в результате давала в среднем от рубля до двух за отчет. Считая от десяти до пятнадцати ученых заседаний в месяц, мой заработок колебался между двадцатью и тридцатью рублями. Цифра для меня являлась громадной, особенно принимая во внимание, что это были первые заработки, дававшие известную самостоятельность и даже некоторое уважение к собственной особе. Да, я уже являлся составной частью того живого целого, которое называется ежедневной газетой. Про себя я очень гордился своей первой литературной работой и был рад, что начал службу простым рядовым. Теперь для меня раскрывалась другая сторона газетного дела, которая для обыкновенного газетного читателя не существует, – за этими печатными строчками открывался оригинальный живой мир, органически связанный вот именно с таким печатным листом бумаги. Настоящий газетный сотрудник, в общежитийском смысле, погибший человек, потому что после пяти-шести лет газетной работы он настолько въедается в свое дело, что теряет всякую способность к другой работе. Я видел настоящих фанатиков газетного дела, как тот же полковник Фрей. Меня поражала прежде всего его изумительная аккуратность – аккуратность настоящего старого газетного солдата, который знал только одно, что «газета не ждет». Мне пришлось проработать с ним вместе около трех лет, и не было случая, когда бы он опоздал хоть на пять минут.

Газетное братство распадалось на целый ряд категорий: передовики, фельетонисты, хроникеры, заведывающие отделами вообще и просто мелкая газетная сошка. В сущности получалось две неравных «половины»: с одной стороны – газетная аристократия, как модные фельетонисты, передовики и «наши уважаемые сотрудники», а с другой – безыменная газетная челядь, ютившаяся на последних страницах, в отделе мелких известий, заметок, слухов и сообщений. Особенно сильная борьба шла именно в этом последнем отделе газетных микроорганизмов, где каждая напечатанная строка являлась синонимом насущного хлеба. Я быстро понял эту газетную философию: каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-то его кусок хлеба. Отсюда своя подводная борьба за существование, свои бури в стакане воды, свои интриги, симпатии и антипатии. Типичным человеком в этом отношении являлся полковник Фрей, который со всеми был знаком и доставлял работу. На его голову сыпались самые тяжелые обвинения, его упрекали чуть не в воровстве, ему устраивали неприятные сцены, и он все выносил, оставаясь на своем посту. Лично я с особенным удовольствием вспоминаю о нем, как о человеке, который так просто отнесся ко мне с первого раза и так до конца. И прочие члены «академии» тоже относились хорошо, и мне делается грустно, что их уже нет – последним умер полковник Фрей.

Что же свело их в преждевременную могилу? Ответ довольно грустный: пьянство... Происходило это и от беспорядочности самой работы, и от периодических голодовок, и, может быть, по установившейся годами традиции. Я уже описал свою первую встречу с «академией»; последующие встречи были только повторением. Утром «академия» заседала в трактире Агапыча, а вечером перекочевывала в соседнюю портерную. Здесь раздавалась работа, здесь обсуждались свои газетные дела, здесь проходила вся жизнь под давлением винных паров. Это была самая грустная страница в жизни нашей газетной богемы... Мы с Пепкой не могли избавиться от установившегося режима и время от времени сильно напивались. Происходило это

без предварительного намерения, а как-то само собой, как умеет напиваться русский человек в обществе другого хорошего русского человека. Мало-помалу это вошло даже в привычку, особенно в трудную минуту, когда дома есть было нечего, а тут Агапыч открывал маленький кредит и портерная тоже.

После каждого излишества Пепко испытывал припадки самого жестокого раскаяния, хотя и называл каждый случай пьянства «ошибкой» или описательно – «мы немного ошиблись». Было тяжело смотреть на него в эти минуты.

– Смотри и молча презирай меня! – заявлял Пепко, еще лежа утром в постели. – Перед тобой надежда отечества, цвет юношества, будущий знаменитый писатель и... Нет, это невозможно!.. Дай мне оружие, которым я мог бы прекратить свое гнусное существование. Ах, боже мой, боже мой... И это интеллигентные люди? Чему нас учат, к чему примеры лучших людей, мораль, этика, нравственность?..

– Да будет тебе, Пепко! Надоел... Причитаешь, как наемная плакальщица.

– Нет, ты посмотри на мою рожу... Глаза красные, кожа светится пьяным жиром – вообще самый гнусный вид кабацкого пропойцы.

За этим немедленно следовал целый реестр искупающих поступков, как очистительная жертва. Всякое правонарушение требует жертв... Например, придумать и сказать самый гнусный комплимент Федосье, причем недурно поцеловать у нее руку, или не умываться в течение целой недели, или – прочитав залпом самый большой женский роман и т. д. Странно, чем ярче было такое раскаяние и чем ужаснее придумывались очищающие кары, тем скорее наступала новая «ошибка». В психологии преступности есть своя логика...

Прилив средств и необходимость деловых сношений с «академией» совершенно нарушали всю программу нашей жизни, хотя мы и давали каждый день в одиночку и сообща самые торжественные клятвы, что это последняя «ошибка» и ничего подобного не повторится. Но эти добрые намерения принадлежали, очевидно, к тем, которыми вымощен ад.

– Что же это такое? – взывал Пепко, изнемогая в борьбе с собственной слабостью. – Еще один маленький шаг, и мы превратимся в настоящих трактирных героев... Мутные глаза, сизый нос, развинченные движения, вечный запах перегорелого вина – нет, благодарю покорно! Не согласен... К черту всю «академию»! Я еще молод и могу подавать надежды, даже очень просто... Наконец, благодарное потомство ждет от меня соответствующих поступков, черт возьми!..

Пока Пепко предавался своему унылому самоедству, судьба уже приготовила корректив.

Произошло это совершенно неожиданно, как происходят только серьезные вещи в жизни.

Дело происходило на святках. Ученые общества прекратили свою деятельность, и мы могли воспользоваться по усмотрению своей голодной свободой. Семейных знакомств у нас не было, да и не могло быть благодаря отсутствию приличных костюмов. Все это было очень грустно, особенно в такие семейные праздники, как святки. Все веселились, у всех был свой семейный угол, и мы особенно ярко чувствовали свое унылое одиночество. Пепко с каким-то ожесточением решительно ничего не делал, валялся целые дни на кровати и зудил на гитаре до тошноты, развивая в себе и во мне эстетический вкус. Иногда, достигнув конечного предела одурения, он вскакивал, кого-то ругал в пространство, убежал из дому и через десять минут возвращался с сильным запахом водки.

– А, черт... – ворчал он, хватаясь опять за гитару.

Произошла очень печальная история, которая случается при совместном сожительстве: мы надоели друг другу... Все разговоры были переговорены, интересы исчерпаны, откровения сделаны – оставалось только скучать. Все привычки, недостатки и достоинства были известны взаимно, как платье, физиономии, жесты, интонации голоса и т. д. Незаметно мы старались не видеть друг друга, уходя из дому на целые дни. Это было самое лучшее, что можно было

сделать в нашем положении. Именно в один из таких тяжелых дней, когда я скрылся из дому к знакомому студенту-технологу, и произошло то, что перевернуло жизнь Пепки наирадикальнейшим образом.

Как отчетливо я помню этот проклятый зимний день, гнилой, серый, тоскливый! Вместо снега на мостовой лежала какая-то жидкая каша. Я нарочно засиделся у своего знакомого подольше, чтобы вернуться домой, когда Пепко уже спит, – от скуки он в праздники заваливался спать с десяти часов. Я возвращался в самом скверном настроении, проклиная погоду, праздники, собственную молодость. На мостках через Неву меня продуло самым беспощадным образом, точно самые стихии ополчились на беззащитного молодого человека. Наконец, вот и наш дом, наш флигелек. На звонок вышла Федосья и встретила меня загадочной улыбкой, – она умела улыбаться самым глупым образом.

– Что такое случилось, Федосья Ниловна?

Вместо ответа Федосья только фыркнула и мотнула головой по направлению нашей комнаты, откуда раздавались звуки польки-трамблян. Значит, еще Пепко не спал... Отворяю дверь и от изумления превращаюсь в знак вопроса. Представьте себе совершенно невероятную картину: на моей кушетке сидел Пепко с гитарой, приняв какую-то особую позу жуирующего молодого человека, а перед ним... Нет, это нужно писать другим пером и другими чернилами... В нашей комнате кружились две пары самых очаровательных масок: два «турка», цыганка и «Ночь». «Турки» были своего домашнего приготовления, и не нужно было особенной проницательности, чтобы угадать в них переодетых девушек. Да, это были настоящие маски, тот милый маскарад, который не требовал объяснений. И все-таки я решительно ничего не понимал... На столе, где лежали мои рукописи, стояли три пустых бутылки из-под пива, две тарелки с объедками колбасы и сыра, два веера и перчатки не первой молодости.

– Рекомендую: мой друг, – рекомендовал меня Пепко. – Отличный парень, а главное – замечательный талант.

– В каком смысле? – осведомилась Ночь, подавая мне холодную, длинную и худую руку.

– Во всяком, милая Ночь...

Маски сбились в одну кучку и о чем-то шушукались. Очевидно, мое появление нарушило трогательный семейный праздник. Впрочем, скоро все уладилось само собой. Храбрее всех оказались «турки», которые первыми сняли маски, а их примеру последовала цыганка. В результате этого разоблачения оказались три молодых, довольно миловидных рожицы, улыбавшихся и хихикавших самым задорным образом. Упорнее всех оказалась Ночь, которая ни за что не хотела снимать маску. Пепко пустил в ход какой-то дипломатический подвох, чтобы «обнаружить прелестную незнакомку», которая оказалась девушкой средних лет, с какими-то испуганными темными глазами.

– Ну, вот и отлично! – одобрял Пепко, принимаясь за свою гитару.

– Что это значит? – спросил я, продолжая не понимать.

– Что значит? В нашем репертуаре это будет называться: месть проклятому черкесу... Это те самые милые особы, которые так часто нарушали наш проспект жизни своим шепотом, смехом и поцелуями. Сегодня они вздумали сделать сюрприз своему черкесу и заявили все вместе. Его не оказалось дома, и я пригласил их сюда! Теперь понял? Желал бы я видеть его рожу, когда он вернется домой...

У нас открылся настоящий бал. Появилось новое пиво, а с ним разлилось и новое веселье. Наши маски оказались очень милыми и веселыми созданиями, а Пепко проявил необыкновенную галантность – нечто среднее между турецким пашой и французским маркизом конца грешного восемнадцатого века.

– Гризетки из Латинского квартала, – резюмировал Пепко свои впечатления и как-то особенно глупо захохотал; я его видел в женском обществе в первый раз.

Говоря откровенно, девушки были очень недурны и дурачились так мило, точно разыгравшиеся котята. Мы танцевали кадрили, польки, вальсы – вообще развеселились. Потом начались святочные игры, пение, все те маленькие глупости, которые проделываются молодежью с таким усердием. Пепко проявлял все свои таланты, и наши дамы хохотали над ним до слез. Он сам вошел в свою роль и тоже хохотал.

– Позвольте, однако, mesdames, как вас зовут? – спохватился Пепко немножко поздно.

– Угадайте...

Пепко посмотрел на них и по какому-то наитию проговорил с полной уверенностью:

– Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья-премудрость...

По странной случайности оказалось, что это было именно так, и Пепко, увлекшись своей ролью прорицателя, подошел к Ночи, взял ее за руку и проговорил:

– А ты – Любовь, то есть любовь и в частности и вообще.

IX

– Что такое женщина? – спрашивал Пепко на другой день после нашего импровизированного бала. – За что мы любим эту женщину? Почему, наконец, наша Федосья тоже женщина и тоже, на этом только основании, может вызвать любовную эмоцию?.. Тут, брат, дело поглубже одной физики...

Затем Пепко сделал рукой свой единственный жест, сладко зажмурил глаза и кончил тем, что бросился на свою кровать. Это было непоследовательно, как и дальнейшие внешние проявления собственной Пепкиной эмоции. Он лежал на кровати ничком и болтал ногами; он что-то бормотал, хихикал и прятал лицо в подушку; он проявлял вообще «резвость дитяти».

– Что с тобой, Пепко?

– Со мной? Что со мной?.. Я влюблен в Федосью... Ххе!.. По-моему, она бальзаковская женщина с очень колоритным темпераментом, и я посвящу ей стихи.

Пепко вскочил со своего ложа, остановился посреди комнаты и совершенно неожиданно захохотал, сделав глупое лицо.

– Что такое женщина?.. О, ты не знаешь, что такое женщина!

По всем признакам Пепко мучился желанием рассказать мне что-то очень пикантное и вместе с тем не решался. Я мог сделать довольно основательное предположение по адресу вчерашних масок, – мы их провожали вместе, а потом разлучились; на мою долю досталось провожать двух сестер, Веру и Надежду, а Пепко провожал Ночь и мать, премудрость Софью. Домой вернулся он очень поздно, когда я уже спал, и утром не желал поделиться своими впечатлениями. Настоящий разговор происходил уже после обеда, когда на Пепку напала томлящая жажда соткровенничать.

– Если не ошибаюсь, тебя угнетает какая-то тайна? – заметил я, подавая реплику.

– О, ты проник на самое дно моей души, мой друг... Да, величайшая тайна, больше – тайна женщины. А впрочем, подозрение да не коснется жены цезаря!⁹

– Где цезарь, Пепко?

– Цезарь – это я, то есть цезарь пока еще в возможности, *in spe*. Но я уже на пути к этому высокому сану... Одним словом, я вчера лобзнул Ночь и Ночь лобзнула меня обратно. Привет тебе, счастливый миг... В нашем лице человечество проявило первую попытку сделать продолжение издания. Ах, какая девушка, какая девушка!..

– По-моему, она очень некрасива...

– А глаза?.. И мир, и любовь, и блаженство... В них для меня повернулась вся наша грешная планетишка, в них отразилась вся небесная сфера, в них мелькнула тень божества... С ней, как говорит Гейне, шла весна, песни, цветы, молодость.

Освободившись от своей тайны, Пепко, кажется, почувствовал некоторое угрызение совести, вернее сказать, ему сделалось жаль меня, как человека, который оставался в самом прозаическом настроении. Чтобы несколько стушевать свою бессовестную радость, Пепко говорил каким-то фальшивым тоном, каким говорят про «дорогих покойников»:

– А эта белокуренькая Надежда ничего... Этакой пухленький чертенок. Я заметил, как она посматривала на тебя. И ты в свою очередь...

– Нельзя ли меня оставить в покое.

– Гм, твое дело... Если не ошибаюсь, Вера и Надежда – сестры, и, если не ошибаюсь, у них есть мамаша, то есть они живут при мамаше?

⁹ «...подозрение да не коснется жены цезаря» – фраза, приписываемая римскому императору Юлию Цезарю (100-44 гг. до н. э.).

– Да, что-то в этом роде... Они приглашали нас к себе как-нибудь в воскресенье. Очень милые девушки вообще...

– Да, милые... А Горгедзе?..

– Он просто знакомый... Бывает у них. Ничего особенного...

– Гм, да... Вещь обыкновенная.

Пепко вдруг замолчал и посмотрел на меня, стиснув зубы. В воздухе пронеслась одна из тех невысказанных мыслей, которые являются иногда при взаимном молчаливом понимании. Пепко даже смутился и еще раз посмотрел на меня уже с затаенной злобой: он во мне начинал ненавидеть свою собственную ошибку, о которой я только догадывался. Эта маленькая сцена без слов выдавала Пепку головой... Пепко уже раскаивался в своей откровенности и в то же время обвинял меня, как главного виновника этой откровенности.

Мне приходится сделать маленькое отступление и вернуться назад. Дело в том, что у Пепки была настоящая тайна, о которой он не говорил, но относительно существования которой я мог догадываться по разным аналогиям и логическим наведениям. Познакомившись с ним ближе, я, во-первых, открыл существование в его инвентаре нескольких вещей, настолько ненужных, что их даже нельзя было заложить, и которые Пепко тщательно прятал: вышитая шелком закладка для книг, таковая же перотерка и т. д.; во-вторых, я сделался невольным свидетелем некоторых поступков, не соответствовавших общему характеру Пепки, и, наконец, в-третьих, время от времени на имя Пепки получались таинственные письма, которые не имели ничего общего с письмами «одной доброй матери» и которые Пепко, не распечатывая, торопливо прятал в карман. Не нужно было особенной проницательности, чтобы догадаться о существовании какой-то невидимой женской руки, протягивавшейся в «Федосьины покровы» прямо к сердцу Пепки. Федосья была убеждена в существовании этой таинственной особы и с ехидством обезьяны каждый раз сама приносила письма Пепке.

– Опять письмо... – говорила она, пожирая глазами Пепку.

– А, черт!.. – ругался Пепко.

Было раз даже так, что Федосья вошла в нашу комнату на цыпочках и проговорила змеиным сипом:

– Вас спрашивает какая-то дама...

Пепко вылетел в коридор, как бомба. Там действительно стояла дама, скрывавшая свое лицо под густой вуалью. Произошел короткий диалог, и дама ушла, а Пепко вернулся взбешенный до последней степени. Его имя компрометировалось пред лицом всех обитателей «Федосьиных покровов».

Именно этот эпизод с таинственной незнакомкой и промелькнул перед нашими внутренними очами после сделанного Пепкой признания о лобзании. Мужчина, обманывающий женщину, вообще гадок, а Пепко еще не был настолько испорченным, чтобы не чувствовать сделанной гадости. Мучила молодая совесть...

Когда Пепко после утренней откровенности вышел, в комнату заявила Федосья. Она как-то особенно старательно вытирала пыль и кончила тем, что обратилась ко мне с следующим воззванием:

– Самый невероятный Фома!..

– Кто?..

– А сам-то Агафон Павлыч... Разве это хорошо: и даму обманывает и девушку хочет обмануть. Конечно, она глупая девушка...

– Какую даму?

– А та, которая с письмами... Раньше-то Агафон Павлыч у ней комнату снимал, ну, и обманул. Она вдова, живет на пенсии... Еще сама как-то приходила. Дуры эти бабы... Ну, чего лезет и людей смешит? Ошиблась и молчи... А я бы этому Фоме невероятному все глаза

выцарапала. Вон каким сахаром к девушке-то подсыпался... Я ее тоже знаю: швейка. Дама-то на Васильевском острове живет, далеко к ней ходить, ну, а эта ближе...

«Фома неверный», переделанный Федосьей в «Фому невероятного», получил специальное значение в смысле вообще неверности. Я выслушал Федосью молча, а потом ответил:

- Меня удивляет, Федосья Ниловна, ваша слабость говорить о том, чего вы не знаете...
- Я-то не знаю?!

Федосья сделала носом какой-то шипящий звук, взмахнула тряпкой и вышла из комнаты с видом оскорбленной королевы. Я понял только одно, что благодаря Пепке с настоящего дня попал в разряд «Фомы невероятного».

События полетели быстрой чередой. Пепко имел вид заговорщика и в одно прекрасное февральское утро заявил мне, что в следующее воскресенье мы отправимся к Вере и Надежде.

– У этих милых девушек один недостаток: надежда должна быть старше веры, eo ipso,¹⁰ а в действительности Вера старше Надежды. Но с этой маленькой хронологической неточностью можно помириться, потому что она умеет так хорошо улыбаться и смотреть такими светлыми глазами...

- Надеюсь, что твоя Ночь будет там?
- Ну, этого я не знаю, – откровенно соврал Пепко. – Может быть...

Вера и Надежда обитали в глубинах Петербургской стороны. Когда мы шли к ним вечером в воскресенье, Пепко сначала отмалчивался, а потом заговорил, продолжая какую-то тайную мысль:

- Да вообще, ежели рассудить...
- Что рассудить?

– А вот хоть бы то, что мы сейчас идем. Ты думаешь, что все так просто: встретились случайно с какими-то барышнями, получили приглашение на журфикс и пошли... Как бы не так! Мы не сами идем, а нас толкает неумолимый закон... Да, закон, который гласит коротко и ясно: на четырех петербургских мужчин приходится всего одна петербургская женщина. И вот мы идем, повинясь закону судеб, влекомые наглядной арифметической несообразностью...

- А ты не можешь без философии?
- Самому дороже стоит...

Квартира наших новых знакомых помещалась во втором этаже довольно гнусного флигеля. Первое впечатление получалось довольно невыгодное, начиная с темной передней, где стоял промозглый воздух маленькой тесной квартирki. Дальше следовал небольшой зал, обставленный с убогой роскошью. В ожидании гостей все было прибрано. Нас встретила довольно суровая дама, напоминавшая нашу собственную Федосью. Впоследствии она оказалась матерью Веры и Надежды. Это было, как пишут в афишах, лицо без речей. В зале уже сидел какой-то офицер, то есть не офицер, а интендантский чиновник в военной форме, пожилой, лысый, с ласково бегавшими масляными глазами.

– Люба обещала прийти... – заметила белокурая Надежда, поглядывая на Пепку улыбающимися глазками.

– Я не знаю, как ты решила ее пригласить, – брезгливо ответила Вера, пожимая плечами. – Мы с ней познакомились в Немецком клубе перед рождеством. Впрочем, я это так...

Мы чувствовали себя не в своей тарелке, пока не подан был самовар; прислуги не было, и «отвечала за кухарку» все та же мамаша. Некоторое оживление внес седой толстый старик фельдшер с золотой цепочкой, который держал себя другом дома. Он называл девиц попросту Верочкой и Наденькой. Они почему-то хихикали, переглядывались и даже толкали смешного старика. Разговор шел о Немецком клубе и неизвестных нам общих знакомых. Я молчал самым глупым образом, а Пепко что-то врал о провинциальных клубах, в которых никогда не бывал.

¹⁰ разумеется (лат.).

В общем все-таки ничего интересного не получалось. Самая обыкновенная кисленькая чиновничья вечеринка. Пепко уже несколько раз с тоской посматривал на дверь, вызывая улыбку Нади. Она говорила ему глазами: «придет, не беспокойтесь».

Сами по себе барышни были среднего разбора – ни хороши, ни худы, ни особенно молоды. Мне нравилось, что они одевались очень скромно, без всяких претензий и без помощи портнихи. Младшая, Надежда, белокурая и как-то задорно здоровая, мне нравилась больше старшей Веры, которая была красивее, – я не любил брюнеток.

– Ну, братику, мы попали в небольшое, но избранное общество, – шепнул мне Пепко, отводя в сторону. – От скуки челюсти светло... Недостает еще отца дьякона, гитары и домашней наливки, которая пахнет кошкой.

Мне тоже казалось что-то подозрительное во всей обстановке. Чего-то недоставало и что-то было лишнее, как лысая интендантская голова и эта мамаша без слов. К числу действующих лиц нужно еще прибавить ветхозаветное фортепиано красного дерева, которое имело здесь свое самостоятельное значение, – «мамаша без слов» играла за тапера и аккомпанировала Верочке, исполнявшей с большим чувством самые модные романсы. Под это фортепиано мы с Пепкой много танцевали впоследствии, так что я сейчас вспоминаю о нем, как о живом свидетеле наших хореографических упражнений. Увы! – нынче такие цимбалы исчезли даже в глубинах Петербургской стороны, а с ними исчезло и дешевенькое веселье.

Скучавший Пепко не подозревал, какой сюрприз готовила ему роковая судьба. Он вздрогнул, когда в передней забренчал звонок. Это была она... Надя посмотрела на Пепку улыбающимися глазами и выскочила встречать гостью. Послышались поцелуи, говор и молодой смех. Она вошла в сопровождении какого-то очень франтоватого молодого человека иудейского происхождения. Он отрекомендовался помощником провизора, и Пепко побледнел, пожираемый муками ревности. А она была сегодня почти красива, что можно было объяснить быстрой ходьбой, а быть может – обществом интересного кавалера. Юркий еврейчик держал себя с большой развязностью, и барышни чувствовали его своим человеком.

– Я его убью... – сообщил мне Пепко по секрету. – Посмотри, какая отвратительная морда!

Ослепленный страстью, Пепко был несправедлив, потому что еврейчик мог сойти за очень красивого молодого человека, а особенно хороши были горячие темные глаза. Общее впечатление портила только эта специально провизорская юркость. Впрочем, Пепко скоро примирился с своею участью, чему отчасти способствовала поданная во-время закуска. Девица Любовь держала себя с большим тактом, и я подозреваю, что она явилась в сопровождении своего кавалера с заранее обдуманном намерением, именно, чтобы подвинтить в Пепке ревнивое чувство.

После ужина последовали танцы, причем Пепко лез из кожи, чтобы затмить проклятого провизора. Танцевал он очень недурно. Потом следовала вокальная часть, – пела Верочка модные, только что вышедшие романсы: «Только станет смеркаться немножко», «Вьется ласточка» и т. д. Фельдшер не пел и не танцевал, а поэтому исполнил свой номер отдельно.

– Илья Самсоныч, пожужжите, – приставала к нему Надя.

Старик поломался, выпил залпом две рюмки водки и принялся жужжать пчелой. Барышни хохотали до слез, да и все остальные почувствовали себя как-то легче. Интендантский чиновник хотя и танцевал, но должен был изображать спящую на диване болонку, что выходило тоже смешно. Это разнообразие талантов возбудило в Пепке зависть.

– Господа, у кого есть пятиалтынный? – спрашивал он.

Пятиалтынный нашелся, и Пепко согнул его двумя пальцами, – у него была страшная сила в руках. Этот фокус привел фельдшера в восторг, и он расцеловал подававшего надежды молодого человека.

– О, вы далеко пойдете! – повторял старик.

Вечер закончился полной победой Пепки: он провожал свою Любовь и этим уже уничтожал провизора. Я никого не провожал, но тоже чувствовал себя недурно, потому что в передней Надя так крепко пожала мою руку и прошептала:

– Вы приходите как-нибудь один...

Странно, что, очутившись на улице, я почувствовал себя очень скверно. Впереди меня шел Пепко под ручку с своею дамой и говорил что-то смешное, потому что дама смеялась до слез. Мне почему-то вспомнилась «одна добрая мать». Бедная старушка, если бы она знала, по какой опасной дороге шел ее Пепко...

X

Мои занятия шли своим чередом. Все свободное время, которое у меня оставалось, шло на писание романа. То была работа Сизифа, потому что приходилось по десяти раз переделывать каждую главу, менять план, вводить новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недоставало прежде всего знания жизни и технической опытности. Я знал, как смотрит на мою работу Пепко, и старался писать, когда его не было. Кстати, теперь он часто исчезал из дому, особенно по вечерам. Сначала он подыскивал какие-нибудь предлоги для этих таинственных путешествий, обманывая больше всего самого себя, а потом начал пропадать уже без всяких предлогов. Я делал вид, что ничего не замечаю и не интересуюсь его поведением, и продолжал катить свой камень. У этого первого произведения было всего одно достоинство: оно дало привычку к упорному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, а главное – была цель впереди, для которой стоило поработать. Время от времени наступали моменты глухого отчаяния, когда я бросал все. Ну, какой я писатель? Ведь писатель должен быть чутким человеком, впечатлительным, вообще особенным, а я чувствовал себя самым заурядным, средним рабочим – и только. Я перечитывал русских и иностранных классиков и впадал в еще большее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и, главное, как легко написано, точно взял бы и сам написал то же самое. И как понятно – ведь я то же самое думал и чувствовал, что они писали, а они умели угадать самые сокровенные движения души, самые тайные мысли, всю ложь и неправду жизни. Что же писать после этих избранных, с которыми говорила морская волна и для которых звездная книга была ясна...

Первоначальная форма романа была совершенно особенная, без глав и частей. Кажется, чего проще – разбить поэму на части и главы, а между тем это представляло непреодолимые трудности, – действующие лица никак не укладывались в предполагаемые рамки, и самое действие не поддавалось расчленению. Одним словом, мне приходилось писать так, как будто это был первый роман в свете и до меня еще никто не написал ничего похожего на роман. Действие получалось самое запутанное, так что из каждой главы можно было сделать самостоятельный роман. А затем действующие лица так мало походили на живых людей, начиная с того, что резко разграничивались на два разряда – собственно героев и мерзавцев по преимуществу. Это было то же, если бы в мире было всего два цвета – белый и черный, а спектр не существовал. Настоящая жизнь еще не давала красок. Да и какая это была жизнь: описать свое родное гнездо, когда Гоголь уже навеки описал юг, описывать свою школу, студенчество, репортеров, Федосью, Пепку, фельдшера, как он жужжит мухой, пухленькую Надю, – все это было так серо, заурядно и не давало ничего. Вообще было достаточно оснований для отчаяния... Пепко был прав, когда говорил об отсутствии у нас жизни: она шла где-то там, далеко, вне поля нашего зрения. Да и что можно было написать, сидя в своей проклятой мурье? Я начал ненавидеть свою комнату, Федосью, всех квартирантов; это была та стена, которая заслоняла от меня настоящую жизнь. Оставалась надежда на будущее, и я хватался за нее, как утопающий хватается за соломинку.

Впрочем, была одна область, в которой я чувствовал себя до известной степени сильным и даже компетентным: это – описание природы. Ведь я так ее любил и так тосковал по ней, придавленный петербургской слякотью, сыростью и вообще мерзостью. У меня в душе жили и южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, и роскошный южный лес... Нужно было только перенести все это на бумагу, чтобы и читатель увидел и почувствовал величайшее чудо, которое открывается каждым восходящим солнцем и к которому мы настолько привыкли, что даже не замечаем его. Вот указать на него, раскрыть все тонкости, всю гармонию, все то, что благодаря этой природе отливается в национальные особенности, начиная песней и кончая общим душевным тоном. Свои описания природы я начал с подражаний тем образцам,

которые помещены в хрестоматиях, как образцовые. Сначала я писал напыщенно-риторическим стилем а la Гоголь, потом старательно усвоил себе манеру красивых описаний а la Тургенев и только под конец понял, что к гоголевская природа и тургеневская – обе не русские, и под ними может смело подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями. Настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная – у Лермонтова, – эти два автора навсегда остались для меня недостижимыми образцами. Над выработкой пейзажа я бился больше двух лет, причем мне много помогли русские художники-пейзажисты нового реального направления. Я не пропускал ни одной выставки, подробно ознакомился с галереями Эрмитажа и только здесь понял, как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению с литературными описаниями. Они схватили ту затаенную, скромную красоту, которая навеивает специально-русскую хорошую тоску на севере; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который в конце концов подавляет роскошью своих красок и богатством светотени. И там и тут разливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца родная... Красота вообще – вещь слишком условная, а красота типичная – величина определенная. Северные сумерки и рассветы с их шелковым небом, молочной мглой и трепетным полуосвещением, северные белые ночи, кровавые зори, когда в июне утро с вечером сходится, – все это было наше родное, от чего ноет и горит огнем русская душа; бархатные синие южные ночи с золотыми звездами, безбрежная даль южной степи, захватывающий простор синего южного моря – тоже наше и тоже с оттенком какого-то глубоко неудовлетворенного чувства. Бледная северная зелень-скороспелка, бледные северные цветики, контрастирующая траурная окраска вечно зеленого хвойного леса с его молитвенно-строгими готическими линиями, унылая средне-русская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих рек, – все это только служило дополнением могучей южной красоты, горевшей тысячу ярких живых красок-цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зеленью, круглившимися купами южных деревьев. С каким удовольствием я проверял свои описания природы по лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах. Под рукой был необходимый живой материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному штриху, каждому удачному эпитету или сравнению.

Работа в газете шла чередом. Я уже привык к ней и относился к печатным строчкам с гонорарной точки зрения. Во всяком случае, работа была интересная и очень полезная, потому что вводила в круг новых знаний и новых людей. Своих товарищей-репортеров я видал очень редко, за исключением неизменного Фрея. «Академия» попрежнему сходилась в трактире Агапыча или в портерной. Прихожу раз утром, незадолго до масленицы, с отчетом в трактир.

– Их нет-с... – заявил Агапыч, ослабляясь.

– Как нет?

– Точно так-с: были да все вышли-с. А промежду прочим вы их найдете в портерном заведении...

Я инстинктивно почувствовал, что случилось что-то особенное, если даже Фрей изменил насиженному месту. Прихожу в портерную и нахожу всю «академию» in cogrore.¹¹ Был налицо даже Порфир Порфирыч, пропадавший бесследно в течение нескольких месяцев. Несмотря на ранний час, все были уже пьяны, и даже Фрей покраснел вместе с шеей. Мое появление вызвало настоящую бурю, потому что все были рады поделиться с новым человеком новостью.

– Ау, братику! – крикнул Гришук, размахивая длинными руками.

– Не в этом дело, юноша... – бормотал Порфир Порфирыч, ухватив меня за руку. – Не в этом дело-с, а впрочем, весьма наплевать...

¹¹ в полном составе (лат.).

– Что такое случилось, господа?..

Фрей разъяснил все одной фразой:

– «Наша газета» приказала долго жить... Приостановка на три месяца. Да...

– Почему? как?..

– А мы с одним министерством будировали, ну, нас и по шапке. Дрянь дело, вообще...

Все было ясно «и даже очень просто», как объяснил Порфир Порфирыч, причмокивая и притопывая, – он был специально пьян по случаю закрытия газеты.

– Ох, и мер же я все это время, юноша, – объяснял он мне, подмигивая. – Вот как мер... Даже распух с голоду. Работать не мог, все болит, башка пустая – ложись и помирай. А тут хозяйка за квартиру требует, из дому выйти не в чем... Не в этом дело, юноша! Ибо не подох, а жив, и жива душа моя. Учись, о юноша, житейской философии... Например, некоторый пьяница не хотел умирать с голоду, а посему отправился к некоторому добродетельному гробовщику со слезницей, – «так и так, выручай». Ну, гробовщик осмотрел натуру одного пьяницы и предложил ему преломить хлеб, а затем облек в этакую подлую похоронную хламиду, дал в руки черный фонарь и рек: «Иди факельщиком и получай мзду, даже до двух двугривенных». – «А как же вы, милостивец, другим факельщикам даете по полтине?» – «У других натура выше, а с тебя и сорока копеек достаточно». И пьяница шел по Невскому с фонарем, скрывая свой срам воротником... Это раз. Второе: тот же гробовщик пожалел пьяницу и пристроил его в оперу «народом», и пьяница ходил по сцене с бумажной трубой, изображал ногами морскую бурю, ползал черепахой и паки и паки получал мзду. Да, юноша, труден и тернист путь, а отрада обходится дорого... Но не в этом дело, ибо истинный мудрец смеется над собственными несчастьями, ибо выше их.

Искусственная пьяная бодрость не могла скрыть общего тяжелого настроения. Положение во всяком случае получалось критическое, потому что впереди предстояли три голодных месяца. Было о чем подумать, тем более что все жили одной литературной поденщиной. Рабочая машина остановилась на полном ходу, и все очутились на улице. В других газетах места были, конечно, заняты, и нечего было думать устроиться даже в приблизительной форме. Главным страдающим лицом от приостановки издания являлись именно мы, мелкая сошка. Главари могли выждать три месяца, а нам «кусать» было нечего.

– Скверно! – резюмировал Фрей общее положение дел, как капитан севшего на мель корабля. – Да... Человек, кружку!..

Не получив утром газеты, Пепко тоже прилетел в «академию», чтобы узнать новость из первых рук. Он был вообще в скверном настроении духа и выругался за всех. Все чувствовали, что нужно что-то такое предпринять, что-то устроить, вообще вывернуться Фрей сердито кусал свои усы и несколько раз ударял кулаком по столу, точно хотел вышибить из него какую-то упрямую мысль, не дававшуюся добром.

– Молодой человек, ведь вам к экзамену нужно готовиться? – обратился он ко мне. – Скверно... А вот что: у вас есть богатство. Да... Вы его не знаете, как все богатые люди: у вас прекрасный язык. Да... Если бы я мог так писать, то не сидел бы здесь. Языку не выучишься – это дар божий... Да. Так вот-с, пишете вы какой-то роман и подохнете с ним вместе. Я не говорю, что не пишете, а только надо злобу дня иметь в виду. Так вот что: попробуйте вы написать небольшой рассказец.

– Право, я не знаю... Ничего не выйдет.

– А вы попробуйте. Этак в листик печатный что-нибудь настрочите... Если вас смущает сюжет, так возьмите какую-нибудь уголовщину и валяйте. Что-нибудь слышали там, у себя дома. Чтобы этакий *couleur locale*¹² получился... Есть тут такой журналец, который платит за убийства. Все-таки передышка, пока что...

¹² местный колорит (франц.).

- Попробую...
- Спасибо после скажете.

Порфир Порфирыч с своей стороны давал советы Пепке. Общее несчастье еще теснее сблизило всех.

– Есть у меня некоторый содержатель хора певиц, – рассказывал старик. – Он такой же запойный, как и я. Ну, в одной трущобе познакомились... У него такая уж зараза: как попала вредная рюмочка – все с себя спустит дотла. А человек талантливый: на музыку кладет цыганские романсы. Ну и предлагает мне написать романс и предлагает по четвертаку за строку... А я двух стихов не слеблю, тем более что тут особенное условие: нужно, чтобы везде ударение приходилось на буквы а, о и е. Только и всего. Даже смысла не нужно, а этакое поэтическое... Ну, да ты пописываешь стишки, так понимаешь. Дело отменное во всяком случае...

Пепко размыслил и изъявил согласие познакомиться с таинственным хормейстером. Он и не подозревал, что этой работой предвосхищает поэзию последующих декадентов.

- А, черт, все равно! – ворчал он, сердито ероша волосы. – Будем писать а, о и е.

Все наперерыв строили планы нового образа жизни и советовали друг другу что-нибудь. Меньше всего каждый думал, кажется, только о самом себе. Товарищеское великодушие выразилось в самой яркой форме. В портерной стоял шум и говор.

- Ну, а вы что думаете, полковник? – приставали к Фрею.
- Я? А не знаю... Впрочем, кажется, придется обратиться к Спирьке.
- Э, да вон и сам он, легок на помине!

В портерную входил среднего роста улыбавшийся седой старик купеческой складки с каким-то иконописным лицом и сизым носом.

– Про волка промолвка, а волк в хату, – весело заговорил купец, здороваясь. – Каково прыгаете, отцы? Газетину-то порешили... Ну, что же делать, случается и хуже. Услыхал я и думаю: надо поминки устроить упокойнице... хе-хе!..

- Уж пронюхал, Спиридон Иваныч, где жареным пахнет!..
- Жареное-то впереди... К Агапычу, што ли, отцы?..

Решено было справить тризну у Агапыча. Дорогой, когда мы шли из портерной, Спирька взял меня под руку и проговорил:

– Приятно познакомиться, молодой человек, а ежели что касаемо, например, денег... Сколько вам нужно?..

Я отказался и даже обиделся. Но Пепко разъяснил мне на лестнице:

– Денег предлагал Спирька? Не беспокойся, не даст... Этот фокус он проделывает с каждым новичком, чтобы пофорсить. Вот по части выпивки – другое дело. Хоть обливайся... А денег не даст. Продувная бестия, а впрочем, человек добрый. Выбился в люди из офеней-книгонош, а теперь имеет лавчонку с книгами, делает издания для народа и состоит при собственном капитале. А сейчас он явился, чтобы воспользоваться приостановкой газеты и устроить дешевку... Ему нужны какие-нибудь книжонки.

Тризна вышла на славу. Мне еще в первый раз приходилось видеть в таком объеме трактирную роскошь. Спирька все время улыбался, похлопывал соседа по плечу и, когда все подвыпили, устроил зараз несколько дел.

– Ты мне, полковник, оборудуй роман, да чтобы заглавие было того, позазвонистее, – говорил Спирька. – А уж насчет цены будь спокоен... Знаешь, я не люблю вперед цену ставить, не выдавши товару.

- Ладно, знаю, – сумрачно отвечал полковник. – Опять надуешь...

– Я? надую? Да спроси Порфирыча, сколько он от меня хлеба едал... Я-то надую?.. Ах ты, братец ты мой, полковничек... Потом еще мне нужно поправить два сонника и «Тайны природы». Понимаешь? Работы всем хватит, а ты: надуешь. Я о вас же хлопочу, отцы... Название-то есть для романа?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.